



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Гоголь и чёрт

<Фрагменты>

Слышно страшное в судьбе наших поэтов.
Гоголь

Часть первая ТВОРЧЕСТВО

I

«Как чёрта выставить дураком» — это, по собственному признанию Гоголя, было главной мыслью всей его жизни и творчества. «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чёртом» (Письмо Шевырёву¹ из Неаполя от 27 апреля 1847 года).

В религиозном понимании Гоголя чёрт есть мистическая сущность и реальное существо, в котором сосредоточилось отрицание Бога, вечное зло². Гоголь как художник при свете смеха исследует природу этой мистической сущности; как человек — оружием смеха борется с этим реальным существом: смех Гоголя — борьба человека с чёртом.

Бог есть бесконечное, конец и начало сущего; чёрт — отрицание Бога, а следовательно, и отрицание бесконечного, отрицание всякого конца и начала; чёрт есть начатое и неоконченное, которое выдаёт себя за безначальное и бесконечное; чёрт — нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин — вечная плоскость, вечная *пошлость*. Единственный предмет гоголевского творчества и есть чёрт именно в этом смысле, то есть как явление «бессмертной пошлости людской»³, созерцаемое за всеми условиями местными и временными — историческими, народными, государственными, общественными, — явление безусловного, вечного и всемирного зла, пошлость *sub specie aeterni* («под видом вечности»).

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот моё главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей» («Из переписки с друзьями», XVIII, 3). Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий; Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и в глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы *дифференциальное исчисление*⁴, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла. Первый он понял, что чёрт и есть самое малое, которое лишь вследствие нашей собственной малости кажется великим, самое слабое, которое лишь вследствие нашей собственной слабости, кажется сильным. «Я называю вещи, — говорит он, — прямо по имени, то есть чёрта называю прямо чёртом, не даю ему великолепного костюма á la Байрон и знаю, что он ходит во фраке...» «Дьявол выступил уже без маски в мир: он явился в своём собственном виде».

Главная сила дьявола — умение казаться не тем, что он есть. Будучи серединой, он кажется одним из двух концов — бесконечностей мира, то Сыном-плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшими на Сына-плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи тёмным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, кажется смеющимся. Смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера, свобода сверхчеловека — вот различные в веках и народах «великолепные костюмы», маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны Бога. Гоголь, первый, увидел чёрта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью, пошлостью; первый понял, что лицо чёрта есть не далёкое, чуждое, странное, фан-

тастическое, а самое близкое, знакомое, реальное «человеческое, слишком человеческое»⁵ лицо, лицо толпы, лицо, «как у всех», почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собой и соглашаемся быть, «как все».

Два главных героя Гоголя — Хлестаков и Чичиков — суть два современных русских лица, две ипостаси вечного и всемирного зла — «бессмертной пошлости людской». По слову Пушкина: *То были двух бесов изображенья*⁶.

Вдохновенный мечтатель Хлестаков и положительный делец Чичиков — за этими двумя противоположными лицами скрыто соединяющее их третье лицо чёрта «без маски», «во фраке», в «своём собственном виде», лицо нашего вечного двойника, который, показывая нам в себе наше собственное отражение, как в зеркале, говорит:

— Чему смеётесь? Над собой смеётесь!

II

«Вы эту скотину (чёрта), бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он щелкопёр и весь состоит из надуванья. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечёт, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдёт храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он чёрт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился чёрт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньёй не дал власти*. Пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело».

Легко догадаться, кто именно этот «мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие», то есть, в качестве ревизора, распекающий всех.

В черновых заметках к «Мёртвым душам» Гоголь пишет: «Весь город со всем вихрем сплетен — прообразование бездельности (то есть пошлости) жизни всего человечества в массе... Как низвести всемирную картину безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?»

Итак, опять-таки по собственному признанию Гоголя, в обоих величайших произведениях его — в «Ревизоре» и «Мёртвых душах» — картины русского провинциального города 20-х годов

имеют, кроме явного, некоторый тайный смысл, вечный и всемирный, «прообразующий», или, как мы теперь сказали бы, символический, ибо символ и значит «прообразование»: среди «безделья», пустоты, пошлости мира человеческого, не человек, а сам чёрт, «отец лжи», в образе Хлестакова или Чичикова, плетёт свою вечную, всемирную «сплетню»⁷. «Я совершенно убедился в том, что сплетня плетётся чёртом, а не человеком, — пишет Гоголь в частном письме по поводу частного дела. — Человек от праздности и сгупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать (не так ли именно Бобчинский и Добчинский брякнули слово «ревизор»?). Это слово пойдёт гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое; и мало-помалу сплетётся сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора её безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь... Не обвиняйте никого... Помните, что всё на свете обман, всё кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле... Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия *ревизовать* Тот, Кого ничем не подкупишь» (Письмо к Н. Ф. из Москвы от 6 декабря 1849).

Не дан ли здесь полный, не только понятный всем, реальный, но и до сей поры никем, кажется, непонятый, мистический замысел «Ревизора»?

В Хлестакове, кроме реального человеческого лица, есть «призрак»: «это фантазмагорическое лицо, — говорит Гоголь, — которое, как лживый олицетворённый обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда». Герой «Шинели», Акакий Акакиевич, точно так же как Хлестаков, только не при жизни, а после смерти своей, становится призраком — мертвецом, который у Калинкина моста пугает прохожих и стаскивает с них шинели. И герой «Записок сумасшедшего» становится лицом фантастическим, призрачным — «королём испанским Фердинандом VIII». У всех троих исходная точка одна и та же: это — мелкие петербургские чиновники, обезличенные клеточки огромного государственного тела, бесконечно малые дроби бесконечно великого целого. Из этой-то исходной точки — почти совершенного поглощения живой человеческой личности мёртвым безличным целым — устремляются они в пустоту, в пространство и описывают три различные, но одинаково чудовищные параболы: один — во лжи, другой — в безумии, третий — в суеверной легенде. Во всех трёх случаях личность мстит за своё реальное отрицание; отка-

зываясь от реального, мстит призрачным, фантастическим самоутверждением. Человек старается быть не тем, что есть во всякой человеческой личности и что кричит из неё к людям, к Богу: я — один, другого подобного мне никогда нигде не было и не будет, я сам для себя всё — «я, я, я!» — как в исступлении кричит Хлестаков.

В качестве реальной величины в государстве Хлестаков — ничтожество: «один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими». Собственный лакей его, дурак и плут Осип, презирает барина: «Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой». Он, однако, сын дворянина, старосветского помещика из глубины России. Но никакой связи со своим родом, народом, землёю он не сохранил. Он весь до мозга костей — петербургский безземельный «пролетарий», безродный, искусственный человек — гомункул, выскочивший из «петровской табели о рангах», как из алхимической склянки. Люди прошлого, подобные отцу его, для него — варвары, почти не люди: «они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, в гостиную». Отрицание, впрочем, обоюдное: «батюшка присылает ему денежки»; но если бы узнал он, как живёт сынок в Петербурге: «делом не занимается — вместо того, чтобы в должность, а он идёт гулять по прищпекту, в картишки играет», то, по выражению Осипа, «не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, подняв рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почёсывался».

Как личность умственная и нравственная, Хлестаков отнюдь не полное ничтожество. «Хлестаков, — определяет Гоголь, — есть человек ловкий, совершенный *comme il faut*, умный, даже, пожалуй, добродетельный», — ну, конечно, не слишком умный и добродетельный, но зато и не слишком глупый и злой. У него самый обыкновенный ум, самая обыкновенная — общая, лёгкая, «светская совесть». В нем есть всё, что теперь в ход *пошло* и что впоследствии окажется *пошлым*. «Одет по моде», и говорит, и думает, и чувствует по моде. «Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей», — замечает Гоголь. Он, как все: и ум, и душа, и слова, и лицо у него, как у всех. В нём, по глубокому определению опять-таки самого Гоголя, *ничего не означено резко*, то есть определённо, окончательно, до последнего предела, до конца.

Сущность Хлестакова именно в этой неопределённости, неоконченности. «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли» — не способен сосредоточить, довести до конца ни одну из своих мыслей, ни одно из своих чувств. Он, как выражается чёрт Ивана Карамазова, «потерял все свои концы и начала», он — воплощённое отрицание всех концов и начал, воплощённая нравственная и умственная *середина*, посредственность.

Но главные силы, которые движут и управляют им, не в общественной и не в умственной или нравственной личности, а в безличном, бессознательном, стихийном существе его — в инстинктах. Тут прежде всего слепой животный инстинкт самосохранения — невероятный волчий голод: «Так хочется есть, как ещё никогда не хотелось... Тыфу, даже тошнит...» Это не простой мужичий голод, который насыщается хлебом насущным, а благородный, господский. Вправе на удовлетворение этого голода Хлестаков сознаёт себя в высшей степени барином: «Ты растолкуй ему (хозяину гостиницы) серьёзно, что мне *нужно есть*... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поест день, так и другим то же. Вот новости!» Есть хочется, нужно есть — это уже нечто безусловное, бесконечное в существе Хлестакова, — во всяком случае это его естественный конец и начало, его первая и последняя правда.

Природа, наделив его такую потребностью, вооружила и особой силой для её удовлетворения, — силой лжи, притворства, умения казаться не тем, что он есть. И эта сила у него опять-таки не в уме, не в воле, а в глубочайшем бессознательном инстинкте.

Некоторые насекомые формой и окраской тел с точностью, до полного обмана даже человеческого зрения, воспроизводят форму и окраску мёртвых сучков, увядших листьев, камней и других предметов, пользуясь этим свойством, как оружием в борьбе за существование, дабы избегать врагов и ловить добычу. В Хлестакове заложено природою нечто подобное этой первозданной, естественной лжи или мимике лицедейства. В устах его ложь есть вечная «игра природы». Язык его лжёт так же произвольно, неудержимо, как сердце бьётся, лёгкие дышат. «Хлестаков лжёт, — говорит Гоголь, — вовсе не холодно или фанфаронски-театрально! он лжёт с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая *поэтическая* минута его жизни — почти *род вдохновения*».

Ложь Хлестакова имеет нечто общее с творческим вымыслом художника⁸. Он опьяняет себя мечтою до полного самозабвения. Меньше всего думает о реальных целях, выгодах. Это ложь бескорыстная — ложь для лжи, искусство для искусства. Ему в эту минуту ничего не надо от слушателей: только бы поверили. Он лжёт невинно, бесхитростно и первый сам себе верит, сам себя обманывает — в этом тайна его обаяния. Он лжёт и чувствует: это хорошо, это правда. То, чего нет, для него, как для всякого художника, прекраснее и потому правдивее самой правды. Он весь горит и трепещет как бы от священного восторга. Тут какая-то нега, сладострастие лжи. Если бы стали обличать его, он сначала просто не понял бы, а потом с чувством высшей поэтической правды и правоты презрел бы столь низменную точку зрения. Беззащитно и беззлобно огорчился бы, как обиженный ребёнок, как оскорблённый чернью поэт. Недаром утверждает Гоголь, что одно из главных свойств Хлестакова — «чистосердечие и простота». У этого гения лжи, как у всякого истинного гения, — почти детская простота и ясность. Тот Хлестаков, который берёт взятки у обманутых им чиновников с такой бесстыдной наглостью, уже совсем другой человек: поэт исчез, вдохновение потухло:

Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он⁹.

С ложью связано в нем другое столь же первозданное, стихийное свойство. «У меня, — признаётся он, — *лёгкость в мыслях необыкновенная*». Не только в мыслях, но и в чувствах, в действиях, в словах, даже в «тоненьком, худеньком теле», во всём существе его «необыкновенная лёгкость»: весь он точно «ветром подбит», едва земли касается — вот-вот вспорхнёт и улетит. Для него и в нём самом нет ничего трудного, тяжёлого и глубокого — никаких задержек, никаких преград между истиной и ложью, добром и злом, законным и преступным; он даже не «преступает», а перелетает благодаря этой своей окрыляющей лёгкости через «все черты и все пределы». Величайшие мысли человечества, которые давят его целые века своей тяжестью, попадая в голову Хлестакова, становятся вдруг легче пуха. Вот, например, одна из главных мыслей XVII и XVIII века, Монтеня, Гоббса, Жан-Жака Руссо, — мысль о «естественном состоянии», о возврате человека в природу. Когда Хлестаков признаётся в любви жене город-

ничего, та отвечает ему с робким недоумением: «но позвольте заметить, я в некотором роде... я замужем». — «Это ничего, — возражает Хлестаков. — Для любви нет различия: и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй»... Это значит: человеческие законы осуждают нашу любовь, но мы уйдём от людей в природу, где царствуют иные, вечные законы. От древнегреческой идиллии Дафниса и Хлои, которые тоже были счастливы «под сенью струй», до чувствительных романов XVIII века, до пастушеских сцен во вкусе Ватто, Буше¹⁰ и через Карамзина до Хлестакова — какой невероятный путь прошла человеческая мысль и во что она превратилась! А вот и другая сторона этой же самой мысли о противоположности природы и человека, естественного и культурного состояния: «Деревня, впрочем, имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право!» Точно так же соблазны культуры понимает и лакей Осип: «Жизнь тонкая и политичная; кеатры, собаки тебе танцуют, и всё, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности... Галантерейное, чёрт возьми, обхождение!»

Эпикурейское вольнодумство, возрождённая языческая мудрость, принцип «жизнью пользуйся, живущий!»¹¹ — сокращается у Хлестакова в изречение новой положительной мудрости: «Ведь на то живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия». Как просто, как общедоступно! Это освобождение от всех нравственных уз не превратится ли впоследствии в ницшеанское, карамазовское «нет добра и зла, всё позволено»? И здесь, и там — одно начало: крылья орла и крылья мошки борются с одними и теми же законами всемирного тяготения.

Это — язычество; а вот и христианство, — тоска по неземной отчизне, «идеализм» Хлестакова, — из письма его к приятелю Тряпичкину: «Прощай, душа Тряпичкин... Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков всеобъемлющий круг его созерцания: всё, что имеет три измерения, приводит он к двум или к одному — к совершенной плоскости, пошлости; потому всё это и в ход пошло, что так пошло. Он сокращает всякую мысль до последней степени краткости, облегчает её до последней степени лёгкости, отбрасывает её конец и начало, оставляя одну лишь бесконечно малую, самую срединную точку — и то, что было вершиною горного кряжа, становится пылинкою, носимую ве-

тром по большой дороге. Нет такого благородного чувства, такой глубокой мысли, которые не могли бы, стёршись, выветрившись, благодаря этому хлестаковскому гению сокращения, облегчения, сделаться серою пылью.

Дух его родственен духу времени. «Я литературой существую», — говорит Хлестаков, — и это не ложь, а глубокое признание. Он друг не только Тряпичкина, Булгарина, Сенковского, Марлинского, но и самого Пушкина, камер-юнкера, которому, в лице какого-нибудь модного, великосветского хлыща, совершенного *somme il faut*, одного из бесчисленных однодневных приятелей Александра Сергеевича, «доброе малого», пожимает руку на придворных балах со снисходительной развязностью: «Ну, что, брат? — Да так, брат, — отвечал бывало тот, — Так как-то всё...»...«Большой оригинал!» И ведь уж, конечно, та сплетня, от которой Александр Сергеевич Пушкин погиб, обошлась не без участия Ивана Александровича Хлестакова. Пушкин погиб, а Хлестаков процветает. Дух его сказывается не только в романтических «кровавых незабудках» начала XIX века, но и в нашей современной декадентской резвости, в нашей ницшеанской дерзости, за которую здравый смысл, как старый барин, если бы узнал, в чём дело, не посмотрел бы на то, что ты декадент или ницшеанец, а, «поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почёсывался». «Я им всем поправлял стихи, — мог бы сказать Хлестаков и о новейших поэтах, — моих много есть сочинений — уж и названий даже не помню». Стоит прислушаться к приятелю Тряпичкину: «Прощай, душа Тряпичкин... Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пиши для души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков всеобъемлющий круг его созерцания: всё, что имеет три измерения, приводит он к двум, к опере — точной музыке, этому *Leit — Motiv*'у прошлого века, так назойливо заглушающему Бетховена и Вагнера, чтобы почувствовать бессмертного Хлестакова, которому пессимизм XIX столетия ничуть не помешал «срывать цветы удовольствия». «Я ведь тоже разные водевильчики...» Стоит зайти в любой театр, чтобы убедиться, что и в наши дни театральные дирекции говорят своему доброму приятелю, Ивану Александровичу: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, всё написал». Стоит заглянуть в любую сегодняшнюю газету, чтобы из мнений

о пользе велосипедного спорта и свободы совести, о прелестях Кавальери и Венеры Милосской, из предсказаний погоды и будущности России так и пахнуло на нас «необыкновенною лёгкостью в мыслях». Тут именно, в современной печати, в гласности, с каждым днём всё растёт и растёт Хлестаков. Теперь более, чем когда-либо, мог бы он сказать, не хвастая: «Я литературой существую», и литература существует мною. «И газетный листок, — ужасается Гоголь, — становится нечувствительно законодателем его неуважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые в виду всех чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» Эта исходящая снизу «нечистая сила» и есть, конечно, сила Хлестакова, который уже не только в литературе, но и на страницах всемирной истории от Парижа до Пекина, от Лондона до Трансвааля пишет свои «водевильчики», сплетает свою сплетню.

И все растёт, растёт, как туманное видение, как фата-моргана. Выше, выше, excelsior! — это бранный клич Хлестакова, клич современного прогресса. «Один раз я даже управлял департаментом». Это ложь? Едва ли. Может быть, он действительно с тех пор не раз управлял многими департаментами. Может быть, и в наши дни его спрашивают: «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять». — «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, так и быть, только уж у меня: ни, ни, ни! Уж у меня ухо остро! уж я...» «Меня сам государственный совет боится». Может быть, и в наши дни, когда вечно юный Хлестаков проходит через либеральнейший из департаментов, «просто землетрясение, всё дрожит, трясётся, как лист». И если не тридцать пять тысяч курьеров, то поезда-молнии, телеграфы, телефоны всё ещё служат ему. Кто из нас не слышал над собой его начальнического окрика: «О, я шутить не люблю; я им всем задам острастку!» Но выше, выше, excelsior!

Привидение растёт, мыльный пузырь надувается, играя волшебной радугой. «Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам!» — «Я везде, везде». Вот нуменальное слово; вот уже лицо чёрта почти без маски: он вне пространства и времени, он вездесущ и вечен. «Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельд-

марш... (поскальзывается и чуть-чуть не падает на пол, но с почтением поддерживается чиновниками)».

До чего бы дошёл он, если бы не поскользнулся? Назвал ли бы себя, как всякий самозванец, самодержцем? А, может быть, в наши дни не удовольствовался бы и царственным, никаким, вообще, человеческим именем, и уже прямо назвал бы себя «сверхчеловеком», «Человекобогом»: сказал бы то, что у Достоевского чёрт советует сказать Ивану Карамазову: «Где станет Бог — там уже место Божие; где стану я, там сейчас же будет первое место — и всё позволено!»! Ведь это Хлестаков почти и говорит, по крайней мере, хочет сказать, а если не умеет, то только потому, что слов таких ещё нет: я сам себя знаю, сам... я, я, я... От этого исступлённого самоутверждения личности один шаг до самообожествления, которое в большой голове Поприщина даёт сумасшедший, но всё ещё сравнительно скромный вывод: «Я король испанский Фердинанд VIII», а в метафизической голове Ницше и нигилиста Кириллова, героя «Бесов», — уже окончательный, несколько более величественный вывод: «Если нет Бога, то я — Бог!»

Недаром бедные чиновники уездного городка подавлены как бы «сверхчеловеческим величием» Хлестакова. «Генерал» это ведь для них и значит почти «сверхчеловек». «Как вы думаете, Пётр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?» — «Я думаю, чуть ли не генерал». — «А я так думаю, что генерал-то ему и в подмётки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус!.. Вот это, Пётр Иванович, человек-то! — заключает Бобчинский. — Вот оно, что значит человек!» А уничтоженный Артемий Филиппович Земляника только лепечет, дрожа и бледнея: «Страшно просто. А отчего — и сам не знаешь». И действительно, по сцене проносится как бы дыхание какого-то сверхъестественного ужаса.

Зрители смеются и не понимают страшного в смешном, не чувствуют, что они, может быть, обмануты ещё больше, чем глупые чиновники. Никто не видит, как растёт за Хлестаковым исполинский призрак, тот, кому собственные страсти наши вечно служат, которого они поддерживают, как поскользнувшегося ревизора — чиновники, как великого Сатану — мелкие черти. Кажется, и донныне никто не увидел, не узнал его, хотя он уже является «в своём собственном виде», без маски или в самой прозрачной из масок — и бесстыдно смеётся людям в глаза, и кричит: «Это я, я сам! Я — *везде, везде!*»

III

Ежели не зрители, то действующие лица чувствуют какую-то ошеломляющую сонную мглу, фантастическое марево чёрта. «Со мной чудеса», — с лукавым простодушием говорит Хлестаков в письме к Тряпичкину. «Что за чёрт!» — недоумевают городничий, «протирая глаза», словно просыпаясь. И перед самою катастрофой, уже проснувшись: «До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум». «Уж как это случилось, — изумляется Артемий Филиппович, беспомощно «расставив руки», — хоть убей, не могу объяснить. *Точно туман какой-то ошеломил, чёрт попутал*». — «Неестественная сила побудила, — объясняет почтмейстер душевное состояние, в котором находился, распечатывая письмо мнимого Ревизора, — словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» — И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-Богу мороз. И руки дрожат, и всё помутилось». — «Что ж он, по-вашему, такое?» — спрашивает городничий о Хлестакове. «*Ни сё, ни то*; чёрт знает, что такое!» — нечаянно определяет Почтмейстер самую внутреннюю мистическую сущность духа Вечной Середины. Если бы не умчался Хлестаков на тройке своей, не рассеялся призраком в им же напущенном «тумане», то Городничий мог бы спросить его, как в другой комедии Гоголя спрашивает плут плута: «Да ты кто? *чёрт ты!* говори, кто ты?» — И тот ответил бы ему почти такими же словами, как он действительно отвечает у Гоголя, и как у Достоевского подлинный чёрт мог бы ответить Ивану Карамазову: «Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом». «Проходит страшная мгла жизни, — пишет Гоголь в одной из своих «заметок на лоскутках», — и ещё глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление — жизнь без опоры прочной? не страшно ли великое она явление? Так — слепая...» В этой страшной мгле ослепшие люди блуждают и кажутся друг другу привидениями. «Ничего не вижу, — стонет городничий, ошеломлённый туманом. — Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». — «Вспомните *Египетские Тьмы*¹², — объясняет Гоголь по другому поводу, в статье «Страхи и ужасы России» — это марево чёрта. Слепая ночь обняла их вдруг, среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо

в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погибли, кроме одного страха».

И вот «явление последнее», не только в обыкновенном, сценическом, но и в более глубоком, символическом смысле — «последнее явление», видение, которым кончается всё. «*Те же и Жандарм*»: « — Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе». Произнесённые слова поражают как громом всех. И далее страшная «немая сцена» — окаменение ужаса. Мы должны верить, по замыслу Гоголя, что этот петербургский чиновник, являющийся, как «бог из машины», как ангел в средневековых мистериях, есть подлинный Ревизор — воплощённый рок, совесть человеческая, правосудие Божеское. Мы, однако, не видим его; он остаётся для нас ещё более, чем Хлестаков, лицом фантастическим, призрачным. Но если бы увидели, кто знает, не оказалось ли бы странное сходство между двумя «чиновниками из Петербурга», большим и маленьким, не мелькнуло ли бы в грозном лице этого будто бы истинного Ревизора, знакомое лицо человека светского, гораздо высшего полёта, чем Иван Александрович, но столь же ловкого, «совершенного *somme il faut*, умного, даже, пожалуй, добродетельного» и вместе с тем такого, который решительно «ничем не отличается от прочих», от всех? В его начальническом окрике, когда примется он распекать младших братьев своих, бедных уездных чиновников, не прозвучит ли знакомый, только что слышанный окрик: «Уж у меня: ни, ни, ни! Уж у меня ухо остро! О, я шутить не люблю, я вам всем задам острастку!» Что, если в образе второго Ревизора возвращается, совершив один из своих вечных кругов, первый, только что умчавшийся Иван Александрович, в качестве Хлестакова высшего полёта, в новом и окончательном, последнем явлении своём? «По повелению из Петербурга» — вот что оглушает, как громом, всех, не только действующих лиц и зрителей, но, кажется, и самого Гоголя. Повеление из Петербурга? Но откуда же, как не из Петербурга — этого самого призрачного, туманного, «фантастического из всех городов земного шара», ползёт и расстилается по всей России тот ошеломляющий «туман», та страшная мгла жизни, «*египетские тьмы*», чёртово марево, в которых «ничего не видно, видны какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». Оба ревизора, первый и второй, простой «елистратишка» и настоящий «генера-

лиссимус», не одинаково ли законные дети одной и той же «табелли о рангах», не плоды ли одного и того же «петербургского периода» русской истории? Да и весь этот чудовищный уездный город не часть ли всероссийского «Града», гражданства, не отражение ли крошечное, обратное, но совершенно точное, как в капле воды, самого Петербурга? Петербург создал, вызвал из небытия этот город. По какому же праву, с какой высоты будет он судить и казнить его? В самом Петербурге гоголевских времён, что, собственно, произошло такого, что могло бы разразиться над этим маленьким Содомом не как хлестаковский, а действительно Божий гром, что могло бы явиться среди этих «свинных рыл», не как лицо жандарма, всё-таки похожее отчасти на лицо Держиморды, а как действительно человеческое лицо божеского правосудия? Нет, «Ревизор» не кончен, не признан до конца самим Гоголем и не понят зрителями; узел завязки развязан условно, сценически, но не религиозно. Одна комедия кончена, начинается или должна бы начаться другая, высшая, несколько более смешная и страшная. Мы её так и не увидим на сцене: но и до сей поры разыгрывается она за сценою, в жизни, действительности. Это, впрочем, сознаёт отчасти и Гоголь. «*Ревизор* — без конца», — говорит он. Мы могли бы прибавить: «Ревизор» — бесконечен. Это смех не какой-либо частный, временный, исторический, а именно бесконечный и вечный смех русской совести над русским «Градом».

«В итоге, — говорит опять сам Гоголь устами одного из лиц в развязке «Ревизора», — в итоге остаётся что-то этакое... я вам даже объяснить не могу, — что-то *чудовищно-мрачное*, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появление жандарма, который является в дверях, это окаменение, которое наводят на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен их истребить с лица земли, уничтожить вконец — всё это *как-то необыкновенно страшно*».

Почему, в самом деле, это так страшно? Не заключает ли в себе и это окаменение, как всё в «Ревизоре», какого-то глубокого «прообразующего смысла»?

«Эй вы, залётные!» — слышен за сценою голос ямщика в конце четвёртого действия. «Колокольчик звенит», тройка мчится, и Хлестаков, «фантасмагорическое лицо, как олицетворённый обман, уносится вместе с тройкой Бог весть куда». Тройка Хлестакова напоминает тройку Поприщина: «Дайте мне тройку быстрых, как вихрь, коней! садись, мой ямщик, звени, мой ко-

локольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего». Точно так же и Хлестаков уносится на тройке своей в неопределённое пространство, в пустоту, в небытие, из которых он вышел, сам воплощённое небытие и пустота, — в ничто. И между тем как всё реальное, существующее, прошлое и настоящее, перед неизбежным «последним явлением» мистического Держиморды, замерло в неподвижности, окаменело в бессмысленном ужасе, — один только призрачный Хлестаков, с «необыкновенною лёгкостью в мыслях», в вечном движении несётся в неизмеримые пространства будущего. «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит». Вперёд, вперёд! Excelsior! Что значит, говоря словами Гоголя, «это наводящее ужас движение», с одной стороны, и эта наводящая ужас неподвижность — с другой? Неужели окаменевший русский «Град», без железных цепей скованный «египетской тьмой», — это вся старая и современная Россия, а летящий куда-то к чёрту Хлестаков — это Россия новая? Каменная тяжесть, призрачная лёгкость, реальная пошлость настоящего, фантастическая пошлость грядущего, и вот два одинаково плачевные конца, два одинаково страшные пути России к «чёрту», в пустоту, в «нигилизм», в ничто. И в этом смысле какую ужасною, неожиданною для самого Гоголя насмешкою звучит его сравнение России с несущейся тройкою: «Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик («Звени, мой колокольчик», — бредит Поприщин; и в четвёртом действии «Ревизора» «колокольчик звенит»). Летит мимо всё, что ни есть на земле, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Безумный Поприщин, остроумный Хлестаков и благообразный Чичиков — вот кого мчит эта символическая русская тройка в своём страшном полёте в необъятный простор или необъятную пустоту. «Горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя... Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти ему?» Увы, на этот вопрос беспощадно ответил вещей смех Гоголя. Как исполинские видения, как «дряхлые страшилища с печальными лицами», предстали ему только два «героя нашего времени», два «богатыря», рождённые необъятным русским простором, — Хлестаков и Чичиков.

IV

В Хлестакове преобладает начало движения, «прогресса»; в Чичикове — начало равновесия, устойчивости. Сила Хлестакова — в лирическом порыве, в опьянении; сила Чичикова — в разумном спокойствии, в трезвости. У Хлестакова — «необыкновенная лёгкость», у Чичикова — необыкновенная вескость, основательность в мыслях. Хлестаков — созерцатель; Чичиков — деятель. Для Хлестакова всё желанное — действительно; для Чичикова всё действительное — желанно. Хлестаков идеалист; Чичиков — реалист. Хлестаков — либерал; Чичиков — консерватор. Хлестаков — «поэзия»; Чичиков — «правда» современной русской действительности.

Но, несмотря на всю эту явную противоположность, тайная сущность их одна и та же. Они — два полюса единой силы; они — братья-близнецы, дети русского *среднего* сословия и русского XIX века, самого срединного, буржуазного из всех веков; и сущность обоих — вечная середина, «ни то, ни сё» — совершенная пошлость. Хлестаков утверждает то, чего нет, Чичиков — то, что есть, — оба в одинаковой пошлости. Хлестаков замышляет, Чичиков исполняет. Фантастический Хлестаков оказывается виновником самых реальных русских событий, так же как реальный Чичиков виновником самой фантастической русской легенды о «Мёртвых душах». Это, повторяю, два современных русских лица, две ипостаси вечного и всемирного зла — чёрта.

«Справедливее всего, — замечает Гоголь, — назвать Чичикова *хозяин, приобретатель*. Приобретение — вина всего».

« — Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели, — говорит председатель после совершения купчей крепости на мёртвые души.

— Приобрёл, — говорит Чичиков.

— Благое дело! право, благое дело!

— Да, я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. *Как бы то ни было, цель человека всё ещё не определена, если он не стал, наконец, твёрдою стопой на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности.*

Не выражает ли тут устами Чичикова вся европейская культура XIX века свою самую внутреннюю сущность? Высший смысл жизни, последняя цель человека «не определена» на земле. Конец и начало мира непознаваемы; только середина — мир

явлений — доступна познанию, чувственному опыту, а следовательно, и реальна. Единственное и окончательное мерило для оценки всего есть прочность, основательность, «позитивность» этого чувственного опыта, то есть обыкновенной «здоровой» — *средней* человеческой чувственности. Все философские и религиозные чаяния прошлых веков, все их порывы к безначальному и бесконечному, сверхчувственному суть, по кантовскому определению, только «метафизические» и «теологические» бредни, «вольнодумные химеры юности». Но герой наш (герой нашего времени, как и само время) уже был *средних* лет и осмотрительно-охлаждённого характера». Он задумался «положительнее», то есть «позитивнее». И вот главная позитивная дума Чичикова и есть именно дума о том, как бы отвергнуть всё, что кажется ему «химерою», обманчивым призраком бесконечного, безусловного, «стать твёрдою стопой на прочное основание» условного, конечного, относительного, единственно будто бы реального. «Но замечательно, — прибавляет Гоголь, — что в словах его была всё какая-то нетвёрдость, как будто бы тут же сказал он себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Да, в глубине Чичиковского «позитивизма» такое же всемирное «враньё», как в глубине хлестаковского идеализма. Желание Чичикова «стать твёрдою стопой на прочное основание» — это именно то, что теперь в ход *пошло*, а потому — *пошло*, как, впрочем, и желание Хлестакова «заняться, наконец, чем-нибудь высоким». Оба они только говорят и думают, как все; а в сущности ни Чичикову нет никакого дела до «прочных» основ, ни Хлестакову — до горных вершин бытия. За консервативною основательностью у одного скрывается такая же «химера», пустота, ничто, как за либеральною «лёгкостью мыслей» — у другого. Это не два противоположные конца и начала, не две безумные, но всё-таки честные крайности, а две «бесчестные, потому что слишком благоразумные» середины, две одинаковые плоскости и пошлости нашего века.

Ежели нет в человеческой жизни никакого определённого смысла, высшего, чем сама эта жизнь, то нет для человека на земле и никакой определённой цели, кроме реальной победы в реальной борьбе за существование. «Так есть хочется, как ещё никогда не хотелось!» — этот бессознательный, стихийный вопль Хлестакова, «голос природы», становится сознательною, общественно-культурною мыслью у Чичикова — мыслью о при-

обретении, о собственности, о капитале. «Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надёжнее всего на свете... Копейка не выдаст... Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой». Вот завет отца и всего духовного отечества Чичикова — XIX века. Вот самая позитивная мысль самого позитивного из всех веков, с его пронизавшим насквозь всю культуру, промышленно-капиталистическим, буржуазным строем; вот единственное будто бы «прочное основание», найденное если не в отвлечённом созерцании, то в жизненном действии и противопоставляемое всем «химерам» прошлых веков. Тут нет, конечно, правды божеской, зато есть «человеческая, слишком человеческая» правда, может быть отчасти даже оправдание. Сила денег для Чичикова вовсе не грубая, внешняя, а внутренняя сила духа, мысли, воли, своего рода бескорыстия, героизма, самопожертвования. Когда князь, приехавший тоже, как и второй ревизор, «по именному повелению из Петербурга», в присутствии двух дюжих жандармов распечатывает Чичикова: «С сей же минуты будешь отведён в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей!» — «Я человек, ваше сиятельство! — возражает Чичиков. — Кровью нужно было добывать насущное существование... Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку, трудами, трудами, не то чтобы кого ограбил или казну обворовал, как делают... Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное?.. Ведь сколько нужно было побороть; сколько вынести! ведь всякая копейка выработана, так сказать, всеми силами души!..» В мысли о деньгах заключено для него нечто безусловное, как бы даже бесконечное, почти религиозное. «Шкатулка! — раздирающим душу голосом вопит он в тюрьме перед тем, как разорвать на себе фрак «наваринского пламени с дымом». Шкатулка! Ведь там всё имущество... Всё украдут, разнесут! О Боже!» Тайственная шкатулка для него новый «ковчег завета».

Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот, подлинным, не только комическим, но и трагическим героем, «богатырём» своего времени. «Назначение ваше — быть великим человеком», — говорит ему Муразов. И это отчасти правда: Чичиков так же, как Хлестаков, все растёт и растёт на наших глазах. По мере того как мы умалеемся, теряем все свои «концы» и «начала», все «вольнодумные химеры», наша благоразумная середина, наша буржуазная «по-

ложительность» — Чичиков — кажется всё более и более великою, бесконечною.

V

«Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в *довольстве* прожить остаток дней; оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству. Вот для чего хотел приобрести!» «В нём, — говорит Гоголь, — не было привязанности собственно к деньгам для денег, им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех *довольствах*, со всеми *достатками*: экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкушать непременно всё это, вот для чего береглась копейка, скупот отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо него богач на пролётных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И всё, что ни отзывалось богатством и *довольством*, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Так называемый «комфорт», то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покорённые наукой силы природы — звук, свет, пар, электричество, все изобретения, все искусства, — вот последний венец земного рая для Чичикова. «*Пуще всего в покойном довольстве жить любите, — это пуще всего-с*», — определяет лакей Смердяков барину Ивану Карамазову его глубочайшую духовную сущность. Не восторг, не роскошь, не опьянение, не последний предел счастья, — а лишь срединное благополучие, умеренная сытость духа и тела, «спокойное довольство» — вот затаённая мечта, которая соединяет Ивана Карамазова, трагического героя, с героем комическим, Чичиковым, через Смердякова.

«Вы, как Фёдор Павлович (то есть отец Карамазова), — говорит Ивану Смердяков. — Вы, как Павел Иванович, — мог бы он сказать с ещё бóльшим правом, — наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с». Бунт Ивана, сверхчеловеческая гордыня, с которой он восклицает: «Всё позволено; — если нет Бога, то я — Бог!» — это всё ещё

«вольнодумная химера юности», хлестаковская «лёгкость в мыслях», то есть всё-таки более или менее «враньё» или самообман. Но Хлестаков устанет врать, буря утихнет, волны улягутся, и обнаружится вновь *средний* уровень века, его нуменальная середина, его несокрушимая плотина — «прочное основание»: «пуще всего в покойном довольстве жить». И даже в страшном лице Великого Инквизитора мелькает знакомое лицо не только отца Фёдора Павловича, но и деда Павла Ивановича. И антихристово царство, противопоставляемое Великим Инквизитором царству Христову — эти «тысячи миллионов счастливых младенцев», умеренная сытость, «спокойное довольство» всего человечества в комфортабельных «алюминиевых дворцах», в вавилонской башне социал-демократии есть не что иное, как царство Чичикова, всемирного и вечного Чичикова *sub specie aeterni*, ибо царство его и есть именно царство «от мира сего»: «в Чичикове, — говорит Гоголь, — было всё, что нужно для этого мира».

VI

Вместо блаженства — благополучие, вместо благородства — благоприличие, то есть внешняя, условная добродетель, ибо для Чичикова, как для истинного позитивиста, нет ни в добре, ни во зле ничего безусловного. Так как единственная определённая цель и высшее благо человека на земле есть «спокойное довольство», а единственный путь к нему приобретение, то вся нравственность подчиняется этой цели и этому благу, ибо «если уж избрана цель — нужно идти напролом». «Вперёд, вперёд! Excelsior!» — этот боевой клич современного прогресса — клич не только Хлестакова, но и Чичикова. «Покривил, не скрою, покривил... что ж делать? — сознается он однажды в минуту отчаяния. — Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возмёшь и что косою дорогою больше напрямик». — «Чему я всем обязан? — могбы ответить за Чичикова герой «Игрок». — Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство... ну, положим — плутовство. Да ведь необходимая вещь, — что ж можно без него сделать?.. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак, проживёт всякий, это не штука; но прожить с тонкостью, с искусством обмануть всех и не быть обманутым самому — вот настоящая задача и цель!» Если бы это говорил не жалкий провинциальный шу-

лер, а такой политик Возрождения, как Макиавелли, или такой завоеватель, как Цезарь Борджиа¹³ «biondo e bello», то как знать? может быть, Иван Карамазов и Ницше признали бы в этой свободе свою собственную свободу «по ту сторону добра и зла», своё сверхчеловеческое «всё позволено». И чёрт-Смердяков опять воскликнул бы: «Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы ещё, кажется, санкция истины?» Когда Чичиков говорит: «В другом поступке, по человечеству, могу провиниться, но в подлости никогда», — то он искренен. Добро и зло для него так условны сравнительно с высшим благом — приобретением, что он иногда сам не сумел бы отличить одно от другого; сам не знает, где кончается вложенный в него природою инстинкт «хозяина», «приобретателя» и где начинается подлость: средняя подлость и среднее благородство смешиваются в одно «благоприличие», «благопристойность».

«При первом же взгляде на Чичикова видно было, — говорит Гоголь — «благоприличие изумительное». «Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал на свете». Эстетика Чичикова, так же как этика, есть общее достояние современной мещански-денежной культуры. «Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева, *и всё бы было благородно...* Он всякие два дня переменял на себе бельё, а летом, во время жаров, даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в носгвоздику». Общедоступная полезность, удобство, комфорт, чистота, гигиена — середина в прекрасном так же, как в добром.

Несмотря на весь свой глубокий консерватизм, Чичиков — отчасти и западник. Подобно Хлестакову, он чувствует себя в русском провинциальном захолустье представителем европейского просвещения: тут — глубокая связь Чичикова с «петербургским периодом» русской истории, с Петровскими преобразованиями. Чичикова тянет на Запад: он как будто предчувствует, что там его сила, его грядущее «царство». «Вот бы куда перебраться, — мечтает он о тамошне, — и граница близко, и *просвещённые люди*. А какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» — «Надобно прибавить, что при этом он подумывал ещё

об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам». Европейское просвещение только усиливает сознание русского барина, «просвещённого дворянина», в его вековой противоположности тёмному народу. «Хорош, очень хорош! — восклицает однажды Чичиков, заметив, что Петрушка пьян. — Уж вот можно сказать: удивил красотой Европу!» Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: «Какая, однако ж, разница между просвещённым двором и грубой лакейской физиономией!»

Русская культура — это повелось ещё с Петра — срывает со всемирной только хлестаковские «цветы удовольствия», снимает с неё только лакомую пенку или накипь: плоды высшего западноевропейского просвещения проникают в Россию вместе с прочим «галантерейным товаром», наравне с «голландскими рубашками» и «особым сортом французского мыла, которое сообщает необыкновенную белизну и свежесть» русской дворянской коже. Из всемирной культуры выбирает Чичиков то, что нужно ему, а всё прочее, слишком глубокое и высокое, с такой же гениальной лёгкостью, как Хлестаков, сводит к двум измерениям, облегчает, сокращает, расплющивает до последней степени плоскости и краткости. Чичиковское рассуждение «о блаженстве двух душ» и чтение Собакевичу послания в стихах Вертера к Шарлотте стоят, в своем роде, хлестаковского «под сенью струй». «Сердце у него было сострадательное, и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша», — таково христианство Чичикова, его любовь к другим. А вот и язычество, его любовь к себе: стоя перед зеркалом, он «делает себе множество приятных сюрпризов, подмигивает бровью и губами, делает кое-что даже языком, наконец, слегка треплет себя по подбородку» и восклицает с умилённой нежностью: «Ах ты, мордашка эдакой!» Христианство, которое раскошелливается на медный грош благотворительности, язычество, которое кончается любовью к собственной мордашке, очень легко соединить в благоразумной и безопасной середине, в комфортабельном служении Богу и Мамону вместе.

Бессознательная сущность всякого позитивизма, как учения о смысле жизни, от Конфуция до Конта¹⁴, есть отрицание конца, утверждение бесконечного продолжения человеческого рода, бесконечного прогресса: нам хорошо, детям нашим будет лучше, внукам, правнукам ещё лучше — и так без конца. Не челове-

ство в Боге, но Бог в человечестве. Само человечество есть Бог, и другого Бога нет. Нет личного бессмертия, а есть только бессмертие в человечестве. Каждый век «промышляет», «приобретает» для будущих веков; бесконечное приобретение, накопление мёртвого капитала — сокровища «мёртвых душ», которое никогда не тратится, — вот бессознательная и безусловная сущность прогресса. Отсюда — «поклонение предкам» в китайском, — поклонение потомкам в европейском позитивизме; отсюда — брак, деторождение, «семья как религия». «Жена, дети» — вот вечное оправдание всех нелепостей буржуазного строя, вечное возражение против религии, которая говорит: «враги человеку домашние его»; вот «прочное основание», о которое разбиваются все крылатые «химеры», все христианские пророчества о конце мира.

«Чичиков, — говорит Гоголь, — очень заботился о своих потомках». «Оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству, вот для чего хотел приобрести!» — признаётся он сам. «Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства». Главный смертный страх Чичикова не за себя самого, а за свой будущий род, за свою семью, за своё «семя». «Пропал бы, — думает он в минуту опасности, — как волдырь на воде, без всякого следа, *не оставивши потомков*». Умереть, не родив, всё равно, что совсем не жить, потому что всякая личная жизнь есть «волдырь на воде»; волдырь лопнет, умрёт человек — и ничего не останется кроме пара. Личная жизнь имеет смысл только в семье, в роде, в народе, в государстве, в человечестве, как жизнь полипа, пчелы, муравья только в полипнике, улье, муравейнике. С этой бессознательной метафизикой Чичикова согласился бы всякий «желтолицый позитивист», ученик Конфуция, и всякий «белолицый китаец» — ученик О. Конта: тут крайний Запад сходится с крайним Востоком, Атлантический океан — с Тихим. «Что я теперь? — думает разорённый Чичиков, — куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь всякому почтенному отцу семейства? как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бремени землю? *И что скажут потом мои дети?* — *Вот, скажут, отец — скотина: не оставил нам никакого стояния!*» «Иной, может быть, — замечает Гоголь, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собой: а что скажут дети? — И вот буду-

ший родоначальник, как осторожный кот, покосившись только одним глазом вбок, хватается поспешно всё, что к нему поближе». Когда Чичиков воображает себя собственником, владельцем капитала и поместья, тотчас представляется ему и «свежая, белолицая бабёнка, и молодое поколение, долженствующее увековечить фамилию Чичиковых: резвунчик-мальчишка, и красавица дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, *«чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошёл как-нибудь тенью или призраком по земле»*, — чтобы не было стыдно и перед отечеством». «Мечта моя — воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно», — говорит чёрт Ивану. Это и есть главная «позитивная» мечта Чичикова: «бабёнки и Чичёнки» нужны ему, чтобы «окончательно воплотиться», чтобы «всем было известно», что он «действительно существовал» (как будто иначе для всех и для него самого реальность его сомнительна), а не был только «тенью», «призраком», «волдырём на воде». Существование «позитивиста» Чичикова, лишённое «потомков», лопаётся таким же мыльным пузырьком как существование «идеалиста» Хлестакова, лишённое фантастической «химеры». Стремление Чичикова «к бабёнкам и Чичёнкам» и есть стремление чёрта, самого призрачного из призраков, — «к земному реализму». И предрекаемое Великим Инквизитором «царство от мира сего», «миллионы счастливых младенцев» — не что иное, как «Серединное Царство» бесчисленных маленьких позитивистов, всемирных будущих китайцев (здесь духовный «панмонголизм», так пугавший Вл. Соловьёва)¹⁵, миллионы счастливых «Чичёнков», в которых повторяется, как солнце в каплях «Тихого» океана, единый «родоначальник» этого царства, бессмертный «хозяин» мёртвых душ, нуменальный Чичиков.

VII

— Я желаю иметь мёртвых...

— Как-с? извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово...

— Я полагаю приобрести мёртвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как живые, — сказал Чичиков.

Манилов каменеет сначала от изумления, потом от страха.

— Может быть, здесь, в этом вами выраженном изъяснении... скрыто другое...

— Нет, — подхватил Чичиков, — нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть, те души, которые точно уже умерли.

«Мёртвые души» — это было некогда для всех привычное казённое слово на канцелярском языке крепостного права. Но нам теперь вовсе не надо быть чувствительными Маниловыми, а надо только действительно чувствовать и «разуметь предмет таков, каков он есть», то есть, надо разуметь не условный, казённый, «позитивный», чичиковский, а безусловный, религиозный, человеческий, божеский смысл этих двух слов — «душа» и «смерть», чтобы выражение «мёртвые души» зазвучало «престранно» и даже престрашно. Не только мёртвые, но живые человеческие души, как бездушный товар на рынке — разве это не странно и не страшно? Здесь язык самой близкой и реальной действительности не напоминает ли язык самой чуждой и фантастической сказки? Невероятно, что по каким-то канцелярским «сказкам», по такой-то «ревизии» мёртвые души значатся живыми; а может быть, и наоборот, живые — мёртвыми, так что в конце концов не оказывается никакого прочного, позитивного «основания» для того, чтобы отличить живых от мёртвых, бытие от небытия.

Тут чудовищное смешение слов от чудовищного смешения понятий. Язык выражает понятия: какова должна быть пошлость понятий для того, чтобы получилась такая пошлость языка. И, несмотря на этот внутренний цинизм, Чичиков и вся его культура сохраняют внешнее «благоприличие изумительное». Конечно, люди здравого смысла и даже ума государственного приняли в казённый обиход ходячее словечко «мёртвые души»; а между тем, какая бездна хлестаковской лёгкости открывается здесь в чичиковской «основательности»! Повторяю, не надо быть Маниловым, надо только не быть Чичиковым, чтобы почувствовать, что в этом сочетании слов «скрыто нечто другое», за явным, плоским — глубокий, тайный смысл, и чтобы сделалось жутко от этих двух смыслов.

— Я мёртвых ещё никогда не продавала, — возражает Коробочка. — «Приехал Бог знает откуда, — думает она, — да ещё и в ночное время». — «Послушайте, матушка, ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку — и тряпке есть цена: её хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику; а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?»

«Собирайте сокровище ваше на небесах. Какой выкуп даст человек за душу свою или какая польза человека, если он приобретёт весь мир, а душу свою потеряет? — У Бога все живы», так говорит Христос. А чёрт, то бишь Чичиков, возражает: мёртвые души — дело не от мира сего. Это — прах, просто прах. Цена тряпки на бумажной фабрике больше, чем цена души человеческой в вечности. «Это ведь мечта. Предмет просто — фу, фу!»

Кому же мы, дети положительного века, верим больше — Христу или Чичикову? Не потому, что мы говорим и думаем, а потому, как живём и умираем, — это кажется, легко решить. В нашем позитивном чичиковском «фу, фу!» не открывается ли опять-таки, вместо «прочного основания», всё та же бездна хлестаковской «лёгкости в мыслях», безграничного цинизма? И разве наше единственное искреннее слово над всяким мёртвым телом, — не слово Собакевича: «мёртвым телом хоть забор подпирай». Древние эллины, иудеи, египтяне ужаснулись бы безбожного позитивизма, который выражен в этой христианской пословице. «Право, у вас душа человеческая всё равно, что пареная репа», — говорит вечный купец мёртвых душ Собакевичу. Мы уничтожили крепостное право, не торгуем ни живыми, ни мёртвыми душами. Но разве и доньше не бывает иногда «душа человеческая всё равно, что пареная репа»?

Когда, выйдя из терпения, Чичиков посулил Коробочке чёрта, «помещица испугалась необыкновенно. Ох, не припоминайте его, Бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Ещё третьего дня всю ночь мне снился, окаянный... Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих».

Не только простодушная помещица, но и мы, может быть, не менее простодушные читатели, не подозреваем, до какой степени в эту минуту к нам близок чёрт, не тот старый, сказочный, у которого «рога длиннее бычачьих», а новый, подлинный, несколько более страшный и таинственный, который ходит в мире «без маски, в своём собственном виде, во фраке».

— А может быть, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... — возразила старуха, да и не окончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мёртвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьёв разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж ещё вы их хотели пристроить? Да, впрочем, кости и могилы — всё вам остаётся: перевод только на бумаге.

Тут слова, дела от мира и не от мира сего, смешиваясь, становятся смешными. Но в этом смешном — страшное и притом так, что чем смешнее, тем страшнее. Страх Коробочки смешон для нас; но может быть и наоборот: наш смех страшен, хотя мы этого и не чувствуем.

«Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мёртвых душ», то Пушкин, который всегда смеялся при моём чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнёс голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Тут-то я понял, — добавляет Гоголь, — в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма». «Пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю и что по прочтении всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет».

После «Мёртвых душ» получается такое же впечатление, как после «Ревизора»: «что-то чудовищно-мрачное», «всё это как-то необъяснимо страшно». Даже в детски ясной душе Пушкина этот страх, сначала заглушённый смехом, мало-помалу разгорается, как злое зарево. Не грусть, не слёзы, а именно *страх сквозь смех*.

«Казалось, в этом теле совсем не было души», — замечает Гоголь о Собакевиче. У Собакевича в живом теле — мёртвая душа. И Манилов, и Ноздрёв, и Коробочка, и Плюшкин, и прокурор «с густыми бровями» — всё это в живых телах «*мёртвые души*». Вот отчего так страшно с ними. Это страх смерти, страх живой души, прикасающейся к мёртвым. «Ныла душа моя, — признается Гоголь, — когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мёртвых обитателей, страшных недвижимым холодом души своей». И здесь, так же как в «Ревизоре», надвигается «египетская тьма», «слепая ночь среди белого дня», «ошеломляющий туман», чёртово марево, в котором ничего не видно, видны только «свиные рыла» вместо человеческих лиц.

И всего ужаснее, что эти уставившиеся на нас «дряхлые страшилища с печальными лицами», «дети непросвещения, русские уроды», по слову Гоголя, «взяты из нашей же земли», из русской действительности; несмотря на всю свою призрачность, они «из того же тела, из которого и мы»; они — мы, отражённые в каком-то дьявольском и всё-таки правдивом зеркале.

В одной юношеской сказке Гоголя, в «Страшной мести», — «мертвецы грызут мертвеца»: «бледны, бледны, один другого выше, один другого костистее». Среди них «ещё один всех выше, всех страшнее, вросший в землю, великий, великий мертвец». Так и здесь, в «Мёртвых душах», среди прочих мертвецов, «великий, великий мертвец» Чичиков растёт, подымается, и реальный человеческий образ его, преломляясь в тумане чёртова марева, становится невероятным «страшилищем».

Вокруг Чичикова плетётся такая же сплетня, как вокруг Хлестакова. «Все поиски, произведённые чиновниками, открыли им только то, что они, наверное, никак не знают, что такое Чичиков: такой ли он человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных». Почтмейстер высказывает гениальную мысль, что Павел Иванович есть не кто иной, как новый Стенька Разин, знаменитый разбойник, капитан Копейкин. Прочие «с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь и, наведённые остроумною догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих предположений было, наконец, одно — что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует России, что, дескать, Россия так велика и обширна... И вот теперь они, может быть, и выпустили Наполеона с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а впрочем, призадумались, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдаёт на портрет Наполеона». Легенда просачивается из верхних в нижние слои народа: о Чичикове-Наполеоне поговаривать начинают в трактире за чаем купцы, напуганные «предсказанием одного предвещателя, уже три года сидевшего в остроге. Предвещатель пришёл неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлою рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на камен-

ной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвёт цепь и овладеем всем миром». Хлестаков — генералиссимус, Чичиков — сам Наполеон и даже сам антихрист. И здесь, точно так же как в «Ревизоре», как везде, всегда в России, самая фантастическая легенда становится источником самого реального действия. «Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на прокурора, до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с сего умер. Параличом ли его, или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, Боже мой!» — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже давно бездушное тело». В стихии народной реальное действие призраков ещё ужаснее. «Расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что *народился антихрист, который и мёртвым не дает покоя, скупая какие-то мёртвые души*. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, ужокошили не антихристов... Мужики взбунтовались против помещиков и капитанов-исправников. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам». Позитивист Чичиков оказывается невольным творцом самой «вольнодумной химеры», которая облекается в плоть и кровь, в ужасающую реальность, ибо, как мы знаем, хотя бы из истории пугачёвщины, — бунт русских мужиков, даже с позитивной точки зрения, вовсе не «мечта», не «предмет просто — фу, фу!» — *«сия сарынь ничем кроме жесточи унята быть не может»*, по страшному слову Петра. Еще несколько таких призраков — и, как выражается один террорист у Достоевского в «Бесах», — застонет земля и взволнуется море. Тут уже не только бедные, глупые чиновники, но и сам премудрый князь, приехавший из Петербурга, кажется, готов обнаружить хлестаковскую «лёгкость в мыслях», когда, в виду «землетрясения», обращается к окаменевшим от страха чиновникам с фантастическим воззванием: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю!»

«Но это, однако ж, несообразно, это несогласно ни с чем, это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребёнку видно, в чём дело! — Так скажут многие читатели и укорят автора, — замечает Гоголь. — Читателю легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт... И во

всемирной летописи человечества есть много целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как не нужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребёнок. — Видит теперь всё ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеётся над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнём исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлён пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеётся текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также будут смеяться потом».

Кто знает, может быть, и нам, «текущему поколению», сам «нечистый дух» шепчет на ухо устами Чичикова: «Чему смеётесь? над собой смеётесь!» Может быть, и наши гражданские «распекания» Чичикова окажутся не менее хлестаковскими, чем распекания князя-ревизора. «Что ж делать! — мог бы ответить нам Чичиков, как отвечает Муразову. — Сгубило проклятое *незнание меры*, сатана обольстил, *вывел из пределов* разума и *благоразумия человеческого. Преступил, преступил!*» — и ответив так, оставил бы и нас в дураках, ибо сущность его именно в том, что он и не *приступает* к тому, что можно *преступить* или не преступить, что он слишком хорошо соблюдает «меру», середину во всём, что никогда не выходит он из пределов «благоразумия человеческого» и что не его «обольстил сатана», а он сам — сатана, который всех обольщает. Может быть, и наше христианское милосердие к Чичикову похоже на милосердие нового христианина миллионщика Муразова, напоминающее тот филантропический грош, на который раскошелливается сам Чичиков. Так что, в конце концов, и наше гражданское правосудие, и наше христианское милосердие — с него, как с гуся вода: обманув не только чиновников, князя Хлобуева, но и нас, и даже самого Гоголя, снова выйдет Чичиков из тюрьмы, оправданный, как ни в чём не бывало, жалея только фрака, разорванного в припадке отчаяния: «зачем было предаваться так сильно сокрушению?» — и закажет себе новый фрак из того же самого сукна, «наваринского пламени с дымом», и новый будет «точь-в-точь как прежний» — и — «садись мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь кони и несите меня!..» — подобно Хлестакову, он умчится на своей птице-тройке, «как призрак, как воплощённый обман», в неизмеримые пространства будущего. И опять — «го-

ризонт без конца... Русь! Русь!., что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. Что пророчит сей необъятный простор?.. Здесь ли не быть богатырю?..». Чичиков скрылся. Но из необъятного русского простора выступит и русский богатырь, появится снова, уже в окончательном ужасающем явлении своём, бессмертный Хозяин «мёртвых душ». И тогда лишь откроется то, что теперь ещё скрыто не только от нас, читателей, но и от самого художника, — как страшно это смешное пророчество:

«Чичиков — антихрист».

VIII

«Ну, брат, состряпал ты чёрта!» — мог бы сказать себе Гоголь, как у него же в «Портрете» товарищ говорит художнику, написавшему портрет старого ростовщика с лицом, похожим на лицо дьявола. «Нарисуй с меня портрет, — говорит ростовщик. — Я, может быть, скоро умру... Но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить». — В художнике, по мере того как он пишет, пробуждается «такое странное отвращение, такая непонятная тоска», что он бросает кисть и отказывается писать. Старик падает ему в ноги, молит кончить портрет, «говоря, что от этого зависит судьба его и существование в мире; что уже он тронул своею кистью его живые черты; что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете; что он чрез то не умрёт совершенно, что ему нужно присутствовать в мире».

Не напоминает ли это страх Чичикова «пропасть, как волдырь на воде без всякого следа», — его желание, «чтобы всем было известно, что он действительно существовал, а не то, что прошел как-нибудь тенью или призраком по земле»; — не напоминает ли и слова чёрта Ивану Карамазову: «Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас всё очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределённые уравнения... Я икс в неопределённом уравнении. Я — какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя... Моя мечта — это воплотиться, но чтоб окончательно, безвозвратно». Художник чувствует ужас от слов ростовщика: «Они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру и бросился опрометью вон из

комнаты». В нём произошёл переворот; «он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием». Он отрёкся от своего прежнего, преступного будто бы искусства — от «земного реализма», покинул мир и постригся в монахи. «Доныне я не могу понять что́ был тот странный образ, с которого я написал изображение», — говорит он в своей исповеди, сильно напоминающей «Авторскую исповедь» Гоголя. «Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нём; но скажу только, что я с отвращением писал его: не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и, бездушно заглушив всё, быть верным природе (это и есть «земной реализм», или тот «натурализм», которым так восхищались в Гоголе наши критики 60-х годов). Это не было создание искусства, а потому чувства, которые объемяют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства...».

В судьбе героя этой юношеской повести как будто предсказана, «прообразована» судьба самого Гоголя. Впечатление, которое производит на всех и на самого художника портрет, напоминает впечатление от «Ревизора» и от «Мёртвых душ»: «в итоге остаётся что-то чудовищно-мрачное... всё это необъяснимо страшно». Самый весёлый из людей, величайший «охотник до смеха», Пушкин — вдруг перестаёт смеяться и становится мрачным: «Боже, как грустна наша Россия!» Художник, когда пишет портрет, испытывает такую «непонятную тягость», такое странное отвращение, что принужден бросить кисть.

«...Ревизор» сыгран, — признаётся Гоголь, — и у меня на душе так смутно, так странно... Моё создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не моё... Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! мне опротивела моя пьеса... Тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска». Точно так же, во время работы над «Мёртвыми душами», Гоголь, по собственному признанию, «не мог почувствовать любви к делу». «Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращения... Всё выходило у меня натянуто, насильственно». Художник в «Портрете», наконец, бежит от собственного создания. Точно так же Гоголь бежит от «Ревизора». «Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далёкие небеса могут

одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего». И от «Мёртвых душ» так же, как от «Ревизора», Гоголь бегал, скитаясь по всему свету — от Парижа до Иерусалима. Художник не кончил портрета. И «Мёртвые души», и «Ревизор» — «без конца». Художник постригся в монахи. И мечта Гоголя во всей второй половине его жизни — совершенное отречение от мира, монашество.

«Стоит передо мною человек, который смеётся над всем, что ни есть у нас... Нет, это не осмеяние пороков: это отвратительная насмешка над Россией», может быть, не только над Россией, но и над всем человечеством, над всем созданием Божиим, — вот в чём оправдывался, а, следовательно, вот чего и боялся Гоголь. Он видел, что «со смехом шутить нельзя». — «То, над чем я смеялся, становилось печальным». Можно бы прибавить: становилось страшным. Он чувствовал, что самый смех его страшен, что сила этого смеха приподымает какие-то последние покровы, обнажает какую-то последнюю тайну зла. Заглянув слишком прямо в лицо «чёрта без маски», увидел он то, что не добро видеть глазам человеческим: «дряхлое страшилище с печальным лицом уставилось ему в очи», — и он испугался и, не помня себя от страха, закричал на всю Россию: «Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия... Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся»...

IX

В одной сказке Андерсена, «Снежная Королева», говорится о дьявольском зеркале, которое все предметы отражает в искажённом, смешном и страшном виде. Слуги дьявола бегали с зеркалом по всей земле, так что скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нём. Наконец, захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и над самим Творцом. Чем выше подымались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись ещё, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы осколков разлетелись по свету — некоторые из них были не больше песчинки; по-

падая людям в глаза, они так и оставались там. Человек с таким осколком в глазу начинал видеть всё наизусть или замечал во всём одно смешное, потому что каждый осколок сохранял свойство целого зеркала. Некоторым попадали осколки в сердце — и сердце превращалось в кусок льда. Один из них попал в сердце герою сказки, юноше Кая. После многих приключений Кай очутился в чертогах Снежной Королевы. «Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замёрзшее озеро. Лёд треснул на нём на тысячи кусков, равных и правильных, один как другой, на диво... Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуи Снежной Королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самоё сердце его было куском льда. Он возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады: есть такая игра, которая называется «китайскою головоломкой...» Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слово «*Вечность*».

Судьба Кая — судьба Гоголя: кажется, и ему попал в глаз и в сердце осколок проклятого зеркала. И его бесконечная возня со своими добродетельными правилами, тоже своего рода «правильными остроконечными льдинами», безнадежное «устройство души своей» — что-то вроде «китайской головоломки». И он, сидя на обледенелых развалинах его же собственным смехом разрушенного мира, складывает и не может сложить из плоских льдин то, что ему особенно хотелось бы, — слова «*Вечность*», «*Вечная Любовь*». И когда он утешает себя: «в глубине холодного смеха могут отыскаться искры вечной любви», — то всё-таки чувствует, что искры эти не растопят его собственного сердца, которое превратилось в «кусок льда». И когда он успокаивает себя: «Кто льёт часто душевные, глубокие слёзы, тот, кажется, более всех смеётся на свете», — он всё-таки чувствует, что ему самому никогда не заплакать этими слезами. Бедный Гоголь, бедный Кай! Оба замёрзнут, так и не сложив из льдин слова Вечная Любовь.

Чтобы вырвать из сердца своего осколок дьявольского зеркала, готов он вырвать и самоё сердце; чтобы воскресить мир, готов умертвить себя; чтобы спасти других, готов отдать себя в жертву своему убийственному смеху. — Нет, вы не над собой смеётесь, — берет он назад своё слово, — вы смеётесь только надо мною. «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь

над моими героями, он смеялся надо мною... Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей и притом в таком множестве, в каком я ещё не встречал доселе ни в одном человеке... Если бы оне открылись вдруг и разом перед моими глазами, я бы повесился... Я стал наделять своих героев моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство моё, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале, для меня самого, он бы точно содрогнулся». Два главных «чудовища», которые всех ближе и всех страшнее Гоголю, которых он потому и преследует с наибольшей злобой, — Хлестаков и Чичиков. «Герои мои ещё не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности». Всех меньше отделились от него именно эти двое — Хлестаков и Чичиков. «Я размахнулся в моей книге (*«Переписка с друзьями»*) таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё», — пишет Гоголь Жуковскому (из Неаполя, 6 марта 1847). «Право, — заключает он, — *есть во мне что-то Хлестаковское*». Какое страшное значение получает это признание, ежели сопоставить с ним другое — то, что в Хлестакове видел он чёрта! Чичиковского было в Гоголе, может быть, ещё больше, чем Хлестаковского. Чичикову точно так же, как Хлестакову, мог бы он сказать то, что Иван Карамазов говорит своему чёрту: «Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых... Ты — я, сам я, только с другой рожей». Но Гоголь этого не сказал, не увидел или только не хотел, не посмел увидеть в Чичикове своего чёрта, может быть, именно потому, что Чичиков ещё меньше «отделился от него самого и получил самостоятельность», чем Хлестаков. Тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом. Чувствуя, что это во всяком случае необыкновенный человек, захотел он его сделать человеком великим: «Назначение ваше, Павел Иванович, быть великим человеком», — говорит он ему устами нового христианина Муразова. Спасти Чичикова Гоголю нужно было во что бы то ни стало: ему казалось, что он спасает себя в нём.

Но он его не спас, а только себя погубил вместе с ним. Великое призвание Чичикова было последней и самой хитрой засадой, последней и самой соблазнительной маской, за которой спрятался чёрт, подлинный хозяин «Мёртвых душ», подстерегая Гоголя.

Как Иван Карамазов борется с чёртом в своём кошмаре, так и Гоголь — в своём творчестве, тоже своего рода «кошмаре». «Кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из неё и вышло». «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы вволю насмеялся человек над чёртом», — вот главное, что было в душе его. Удалось ли это ему? В конце концов, кто над кем посмеялся в творчестве Гоголя — человек над чёртом или чёрт над человеком?

Во всяком случае, вызов был принят, и Гоголь чувствовал, что нельзя ему отказываться от поединка, поздно отступать. Но эта страшная борьба, которая началась в искусстве, в отвлечённом от жизни созерцании, должна была решиться в самой жизни, в реальном действии. Прежде чем одолеть вечное зло во внешнем мире как художник, Гоголь должен был одолеть его в себе самом как человек. Он это понял и действительно перенёс борьбу из творчества в жизнь; в борьбе этой увидел не только своё художественное призвание, но и «дело жизни», «душевное дело».

Есть, впрочем, уже и в самом созерцании Гоголя начало действия, в самом слове его — начало дела. Этим он противопоставлен Пушкину.

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Вечную правду этого пушкинского завета, правду созерцания, Гоголь признаёт, но вместе с тем видит уже и другую, противоположную, столь же вечную правду действия. Тут воплощается в Гоголе неизбежный, окончательно совершающийся только именно в нас, в наши дни переход русской литературы, всего русского духа от искусства к религии, от великого созерцания к великому действию, от слова к делу. «*Нельзя повторять Пушкина*, — говорит Гоголь. — Нет, не Пушкин или кто другой должен стать теперь образец нам: *другие времена уже пришли...* Другие дела наступают для поэзии. Как во времена младенче-

ства народов служила она к тому, чтобы вызывать *на битву* народы, возбуждая браннолюбивый дух, так придётся ей теперь вызывать на другую, высшую битву — на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу». Пушкин зовёт прочь из битвы; Гоголь — в битву. Это и есть, конечно, битва с вечным злом на вечное благо, последняя битва человека с чёртом. Этот «браннолюбивый дух» в Гоголе — нечто столь же первозданное, истинное, как мирный дух в Пушкине; тут нет у Гоголя никакой измены самому себе, никакого отречения: он столь же верен природе своей, как и Пушкин. «Во сне и наяву мне грезится Петербург и *служба государству*», — пишет матери из Нежина восемнадцатилетний Гоголь. «Мысль о службе у меня никогда не пропадала, — говорит он в конце жизни. — Я не совращался со своего пути... Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был жизнь, а не что другое». «Жизнь я преследовал в её *действительности*, а не в мечтах воображения». «Ум мой был всегда наклонен к *существенности и пользе*». «Я чувствовал всегда, что буду участник сильный и в *деле* общего добра и что без меня не обойдётся»... «Мне захотелось *служить* земле своей... Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу так же служить земле своей». «Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит большое *самопожертвование*». «В России теперь на всяком шагу можно сделаться *богатырём*. Всякое звание и место требует богатырства». Но прежде, чем вступить, подобно древним русским богатырям, в битву со «страшилищами», Гоголь должен был победить самое страшное из них, жившее в нём самом. «Я люблю добро, я ищу его и стораю им; но я не люблю моих мерзостей... Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и в этом мне поможет Бог».

И здесь, в этой «войне» с самим собою так же, как везде, оставаясь верным своей природе, своей самой внутренней сущности, Гоголь не мог не перейти от «воображения» к «действительности», от слова к делу: «Дело моё — душа и прочное дело жизни». Он покидает искусство для искусства; кончается пушкинская «молитва», жертвоприношение — начинается «битва», самопожертвование Гоголя; исчезает поэт, выступает пророк. И вместе с тем тут начинается трагедия Гоголя — *incipit tragoedia* — борьба с вечным злом — пошлостью, — уже не в творческом созерцании, а в религиозном действии, великая борьба человека с чёртом.

Я хочу показать в дальнейшем исследовании, чем кончилась для Гоголя эта борьба.

Часть вторая ЖИЗНЬ И РЕЛИГИЯ

I

Из двух начал явился Пушкин, — говорит Гоголь. Одно из них определяет он, как «отрешение от земли и существенности», стремление в «область бестелесных видений», т. е. как начало духовности, вернее, бесплотности, — христианское или кажущееся, в противоположность язычеству, «христианским». Другое — «прикрепление к земле и к телу», к «осязаемой существенности» — начало плотское, языческое или опять-таки кажущееся доныне, в противоположность христианству, «языческим».

Предвидел ли Гоголь, что, определяя Пушкина, он и самого себя определял, что и он явился из этих же самых «двух начал»? «Никогда не чувствовал себя погружённым в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Что за небо!.. Что за воздух!.. Пью — не напьюсь, гляжу — не нагляжусь... Никогда я не был так весел, так доволен жизнью».

Друзья Гоголя рассказывают, как на вилле Волконской, упиравшейся стеной в старый римский акведук, который служил ей террасой, «он ложился спиной на аркаду и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мёртвую и великолепную римскую Кампанью, оставаясь недвижимым целые часы, с воспалёнными щеками». — «Италия! Она моя!.. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине». Одно из писем помечает он, вместо христианского летосчисления, древнеримским: «год 2588 от основания Города», как будто на одно мгновение пожелал забыть, что Христос родился, как будто 1835 лет христианства, вместе с «Россией, Петербургом, снегами, департаментом», только снились ему.

Это, конечно, шутка; но надо знать, чем и тогда уже было для Гоголя христианство, чтобы почувствовать, что значит эта шутка. «Когда я увидел во второй раз Рим, — говорит он именно

в этом письме, помеченном «от основания Города», — мне казалось, что я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но, нет, это всё не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила ещё прежде меня, прежде чем я родился на свет».

Не Вифлеем, не Голгофа, а «мёртвая и великолепная Кампанья», земля умерших богов — предвечная родина Гоголя. Языческую древность он не то что понимает или чувствует — он живёт в ней. Так жили в ней, может быть, ещё только два человека новой Европы — великие отступники христианства Гёте и Ницше. Рим — ρώμη — значит по-гречески — сила, крепость плоти. Рим есть величайшее последнее всемирное воплощение одного из тех «двух начал», о которых говорит Гоголь по поводу Пушкина; Рим есть самое сильное, самое крепкое «прикрепление» человеческого духа «к земле и к телу», к «осязаемой сущности», перед которой всё, что было прежде и после, кажется призрачным, бесплотным, не существующим. Здесь, в Риме, человек впервые сказал себе, подобно Гоголю: «Я никогда не чувствовал себя погружённым в такое спокойное блаженство», или, подобно гётевскому Прометею: «Я не бог, но равен богам». Сюда, в Рим, каждый из отдельных народов, из отдельных языков принёс, как особый камень в общее всемирное здание, особую силу и крепость плоти своей, особую радость жизни своей; все народы, все языки мира со своими богами собрались в объединённое всемирное язычество под купол Пантеона, это земное небо, и ключевым камнем, замкнувшим свод его, была последняя мысль Рима: земля есть небо, человек есть Бог.

Сквозь все «бестелесные видения» христианства Гоголь в глубине своей русской, даже малороссийской, казацкой природы, в первозданной стихии своего языка́ и языка, иногда прощупывает это, как будто навеки противоположное христианству языческое начало, эту языческую радость жизни, крепость плоти, непотрясаемую твердь «земного неба». «Ей-богу, мы все страшно отделились от наших *первозданных элементов*, — пишет он своему киевскому приятелю Максимовичу из Петербурга, с его «снегами, подлецами и департаментами», как будто вдруг проснувшись от дурного сна. — Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел казак (между прочим, и старый казак «великий язычник», толстовский дядя Ерощка). — Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с по-

стели, дёрнуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это чёрт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая весёлость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина... Откупори её, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства... И на другой день двигайся и работай и укрепляйся *железною силою*». Эта «железная» сила в окончательном всемирном сознании и есть $\omega\mu\eta$ — Рим, в бессознательной стихийности — «прикрепление» всякого народа «к земле своей и к телу» своему, к языческой первоизданной природе своей. Гоголь, конечно, и здесь только шутит; но в шутке этой скрыта та же самая тоска по предвечной родине, с которой он смотрел на мёртвую и великолепную Кампанью.

Из этой первоизданной стихии народной вышел смех Гоголя. «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой... Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость подталкивала». Впоследствии, окончательно «удалившись от первоизданных элементов своих», он сделал этот смех «смехом сквозь слёзы» — жестоким орудием жестокого знания — чем-то вроде анатомического ножа, который режет жизнь, как труп. Но первоначально это был именно только смех для смеха, переливающийся через край, избыток веселья. Он опьянялся смехом, как вином; грелся в нём от петербургского холода, как в луче родного малороссийского или римского солнца. Во всяком случае, Гоголь — молодой казак, пляшущий в одной рубашке трепака, — столь же реален, столь же значителен, как и Гоголь — угрюмый монах, пророчествующий о «бестелесных видениях», о загробных «страшилищах».

Отсюда же, из этой первоизданной стихии языческой, — и столь особенное, столь чуждое нашему христианскому «ложу нескверному», иногда для нас прямо жуткое, «демоническое» сладострастие Гоголя.

«Я полагаю, что Гоголь *вовсе не знал любви к женщинам*», — замечает биограф. И в самом деле, ничего похожего

на влюблённость нельзя отыскать в жизни Гоголя. По свидетельству врача, который ухаживал за ним перед смертью, «сношений с женщинами давно не имел, и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия». — «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать, — пишет юный Гоголь одному своему влюблённому приятелю. — Я потому говорю *благодаря*, что это пламя меня превратило б в прах в одно мгновение». В повести «Вий» прекрасная панночка-ведьма раз пришла на конюшню, где псарь Микита чистил коня. «Дай, — говорит, — Микита, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую и полную, и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и, куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, а с той поры иссох весь, как щепка; когда раз пришли на конюшню, то вместо него лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел, совсем сгорел сам собою!». Не повторяется ли здесь, в сказочном образе, личное признание Гоголя: «Это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение» — в прах, в «кучу золы», как бедного псаря Микиту. «К спасенью моему, — продолжал Гоголь, — твёрдая воля отводила меня от желания заглянуть в пропасть». Сила, которая удаляет его от женщин, — не скудость, а напротив, какой-то особый, оргийный избыток чувственности; это странное молчание — не смерть, а чрезмерная полнота, замирающее напряжение, грозная тишина пола. Когда философ Хома Брут скакал с ведьмой, сидевшей у него верхом на плечах, он видел, как там внизу, в нижней бездне, подземном небе, «из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога — выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета... Облачные перси её, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой эластической окружности... Она вся дрожит и смеётся в воде. «Что это?» — думал философ, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом; он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». «Дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную

рубашку; уста чудно усмеваются, щёки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещёный человек!» Здесь предел сладострастия, за который так же страшно переступить, как за предел смерти. «В тонком серебряном тумане мелькали девушки лёгкие, как тени. Тело их было как будто изваяно из прозрачных облаков и будто светило насквозь при серебряном месяце» («Майская ночь»). Эта прозрачная белизна женского тела, как наваждение, преследует Гоголя: в «Мёртвых душах» на губернском балу рядом с Чичиковым прекрасная молодая девушка «одна только белела и восходила *прозрачною* из мутной и *непрозрачной* толпы» — как видение из другого мира, как русалка в тёмной заглохшей воде. Эти «прозрачные, светящиеся насквозь, как будто изваянные из облаков», тела русалок по природе своей подобны телам древних богов; это — та же самая мистически-реальная, одухотворённая плоть, величайшая противоположность христианской бесплотной духовности, — плоть лёгкая и всё-таки нетленно твёрдая, как твердь небес. Это и есть одно из двух начал, заключённых в самом Гоголе — начало плоти.

«Тело одной русалки, — продолжает рассказчик, — не так светило, как у прочих: *внутри его виднелось что-то чёрное*». Чёрное пятно, страшная чёрная точка есть и в гоголевской «плоти», в первозданной языческой стихии его весёлости, его смеха. Это — точка соприкосновения двух начал, двух половин, двух полюсов мира, рождающая беспредельный мистический ужас. Уже, впрочем, и там, в самой Элладе, есть эта чёрная точка: и там, в тишине самого блаженного, самого ослепительного полдня раздаётся вдруг потрясающий крик, таинственный зов, голос Пана, от которого всё живое бежит в сверхъестественном ужасе. Гоголю с детства знаком этот крик: «Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил моё имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мёртвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался её, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокаивался,

когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» («Старосветские помещики»).

Этот непонятный «панический» ужас объяснился в тот день, когда родился Христос и умер великий Пан. В конце язычества есть начало христианства; в конце земного — начало небесного, в конце плоти — начало того, что за плотью.

Страшный «таинственный зов» слышится Гоголю и в Пушкине. «Поэта, — говорит Гоголь, — поразил вид Казбека, на вершине которого увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом»:

Далёкий, вожденный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседстве Бога скрыться мне!¹

Вот и другое начало из тех двух, которые видел он в Пушкине. Оно же сказалось и в Гоголе, только с гораздо большей силой, чем в Пушкине. «Я не рождён для треволнений, — пишет Гоголь в 1842 году накануне своего христианского обращения, — и чувствую с каждым днём и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Иными словами, это ведь и значит: «туда б, в заоблачную келью»! В тишине самого солнечного языческого полдня кто-то вдруг «назвал Гоголя по имени», и страшен был этот зов из другого мира — он оказался для него зовом смерти.

II

Из этих-то «двух начал» явился Гоголь. «В Пушкине, — говорит он, — *«середина»*, — конечно, не в смысле посредственности, нечистого смешения, а в смысле чистейшего *соединения*, синтеза двух начал. «*В нём все уравновешено*». Равновесие Пушкина нарушено в Гоголе; лад Пушкина становится разладом в Гоголе. Это — одно из величайших нарушений равновесия, которые когда-либо происходили в душе человеческой. Здание дало трещину в главном своде, поколебалось до последних основ своих и упало, и «было падение дома того великое». В этом-то неравновесии двух первоначальных начал — языческого и христианского, плотского и духовного, реального и мистического — заключает-

ся вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная религиозная судьба Гоголя.

Разлад, дисгармония во внутреннем существе его отражаются и во внешнем, даже телесном облике. При первом взгляде наружность его удивляет: в ней что-то странное, на других людей не похожее, слишком напряжённое, слишком острое и вместе с тем надломленное, больное. «Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее, — говорит очевидец. — Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты». Зоркая и грустная одинокая птица. Самое поверхностное впечатление от наружности Гоголя — тревожное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое: зловещая карикатура; других смешит и сам смешон. «Ведь ты, братец, сам делаешься комическим лицом!» — говорит ему Погодин. — «Я именно комик, — соглашается Гоголь, — и вся моя фигура карикатурна». Чем пристальнее всматриваешься в него, тем это смешное становится более жутким, почти страшным, фантастическим. «Таинственный карла» — прозвали его школьные товарищи в Нежине. И Достоевский отметил в нём это нечто «таинственное», фантастическое, когда назвал его «демоном смеха». «Чудак он превеликий!» — восклицает один из его приятелей. «Чудак» — это слишком мало. Не «чудак», а скорее, чудо или чудовище. «Это ещё что такое, и откуда это?» — вот первое, что приходит в голову при взгляде на лицо Гоголя среди обыкновенных, хотя бы и самых избранных, самых гениальных, но всё же человеческих лиц. «Птица», «карла», «демон», карикатура, призрак, что-то фантастическое, только не человек или, по крайней мере, не совсем человек. «Вот до какой степени *Гоголь для меня не человек*, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь», — т. е. чувства естественного страха перед мёртвым телом, — это пишет С. Т. Аксаков, один из ближайших друзей Гоголя, тотчас после смерти его. Живой Гоголь для Аксакова — «не человек», мёртвый — не мертвец. Живой для него таинственнее, призрачнее, чем умерший. И чем ближе подходят к нему люди, тем сильнее чувствуют в нём это страшно далёкое, чуждое, удивительное, к чему нельзя привыкнуть и что в иные мгновения внушает самым близким друзьям его непонятную враждебность, смешанную со страхом и даже с отвращением. Погодин с дру-

жеской откровенностью называет Гоголя «отвратительнейшим существом». «Вообще в нём было что-то отталкивающее», — замечает Сергей Аксаков. «Я не знаю, — заключает он по этому поводу, — любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю — нет; да это и невозможно». Шевырёв, тоже старый друг и даже отчасти ученик его, видит в нём «неряшество душевное, происходящее от неограниченного самолюбия». Одни обвиняют его в «ханжестве», другие признаются, что считают его «кандидатом в святые отшельники или... в дом умалишённых» и чуть не в присутствии «друга» и «учителя» рассуждают об его «сумасшествии» и о «плутовстве в его сумасшествии». Во всех этих «дружеских» отзывах какая-то беспричинная жестокость. Любящие его вдруг начинают ненавидеть, сами не зная за что, стараясь объяснить эту ненависть личными пороками Гоголя, но едва ли справедливо: ведь несмотря на эти пороки, те же самые люди, которые называют его плутом и сумасшедшим, в другие минуты с такой же искренностью считают его пророком, учителем, даже прямо «святым» и «мучеником». С. Т. Аксаков, который писал в 1847 году при жизни его: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости», — пишет через пять лет после смерти его: «Я признаю Гоголя святым; это — истинный мученик христианства». В сущности же для Аксакова так и осталось навсегда неразъяснённым, что такое Гоголь — «сумасшедший или мученик, плут или святой». Подобные противоречия в отзывах неразрешимы, если не предположить, что они зависят от противоречия в самом Гоголе: «два начала», два существа в нём; наблюдателю является то одно из них, то другое, сообразно с точкой зрения, на которой он стоит, и с меркой, которой он мерит.

Последний год своего пребывания в Нежинском лицее Гоголь посвятил «глубокому обдумыванию будущей должности и нового бытия в деятельном мире»; он давал себе слово, что все его «силы будут порываться на то, чтобы означить жизнь одним благодеянием, одной пользой отечества». «Мысль о службе меня никогда не оставляла, — вспоминает он в конце жизни, в «Авторской исповеди». — Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование». Жизнь и смерть Гоголя свидетельствуют о том, какая страшная искренность была в этой детской мечте его. И вот, однако, в это же самое

время, среди глубокого обдумывания «нового бытия», уже стремясь в Петербург на великое служение, он пишет туда же о другой столь же пламенной и заветной мечте своей — о модном фраке и панталонах. «Напиши, пожалуйста, — просит он своего петербургского приятеля, — какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны... Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень хотелось бы себе сделать синий с металлическими пуговицами». Знаменитый фрак Чичикова «наваринского пламени с дымом» не родствен ли этому синему фраку юношеских мечтаний Гоголя? По выпуске из лицея он прежде всех своих товарищей оделся в партикулярное платье. «Как теперь, вижу его в светло-коричневом сюртуке, — рассказывает очевидец, — которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка считалась тогда *пес plus ultra* (*предел* — лат.) молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками как будто не нарочно раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку». Это, конечно, ребячество, но оно останется в нём надолго, может быть навсегда. В Петербурге, поступив в департамент, он вскоре начал упрекать себя за то, что «осмелился откинуть божественные помыслы», — т. е. об истинной «службе», служении земле своей, о самоотверженном подвиге. И тут же, среди благородных самообличений, сообщает провинциальному другу как важное петербургское известие: «Галстуков чёрных не носят; вместо них употребляют синие». Это уже как будто из письма Хлестакова; так и ждёшь продолжения: «Прощай, душа Тряпичкин. Скучно, брат, так жить... Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». В заботе человека об одежде сказывается любовь и уважение к своему телу. Байрон и Пушкин хорошо одевались; у них выходило это так же просто и естественно, как и то, что они хорошо писали: во внешнем изяществе невольно выражались соответствие, гармония между внешним и внутренним. В древней латеранской статуе Софокла складки одежды кажутся столь же гармоническими, как и стихи его трагедий. У Гоголя даже в этой мелочи, в неумении одеваться, обнаруживается основная черта всей его личности — дисгармония, противоречие. Щегольство дурного вкуса. «Одежда его, — говорит очевидец, — представляла резкую противоположность щегольства и неряшества». Зимой 1830 г., когда он узнал, какой модный цвет фраков и галстуков, он, вместе с тем, до такой степени обносился, что «нижнего белья у него не было ни одной

штуки», по собственному признанию. Однажды, несмотря на свою крайнюю зябкость, всю зиму, «отхватал в летней шинели». Эти подробности как будто заимствованы из жизнеописания Хлестакова. Но кто знает? Не внушила ли Гоголю одного из глубочайших, гениальнейших его созданий, «Шинели», эта именно хлестаковская, подбитая ветром шинель? Она была ему нужна, нужнее чем Пушкину изящество петербургского денди, чем Софоклу — красота величавого гиматиона.

В Петербурге сблизился он с Пушкиным. Дружба эта оставила на всей жизни Гоголя неизгладимый след. Он благоговел перед Пушкиным. «Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Ничего не предпринимал я без его совета». — «О, Пушкин, Пушкин! — вспомнит он впоследствии. — Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни!» Но в тогдашних письмах своих хвастает «не этим прекрасным сном», а тем, что книга его понравилась здесь всем, начиная с государыни, и что государыня приказала ему читать в «находящемся в её ведении пансионе благородных девиц». «Квартира моя на пятом этаже; это здесь не значит ничего: сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив вверху гораздо чище и здоровее воздух». В действительности, он в это время, как сам жалуется по другому поводу, «живёт на чердаке». Но хотя, мол, и чердак, а на одном уровне с покоями Зимнего дворца. И это без малейшей иронии, с детской искренностью. «Есть во мне что-то хлестаковское», — опять невольно вспоминается признание Гоголя.

Отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутренняя неустойчивость, неравновесие ставят его в самые неловкие, нелепые и смешные, унижительные положения, делают «комическим» или, вернее, трагикомическим лицом, собственной карикатурой, правда, карикатурой исполинской, ибо в самом ничтожестве сохраняет он величие своих «первозданных элементов». Такова история с его профессорством. «Он смотрел на науку, как на средство для составления карьеры», — замечает биограф. По выражению самого Гоголя — он «отжилил кафедру». Приятелю Максимовичу, тоже будущему профессору, советует «работать сплеча, что придётся» и с истинно хлестаковской лёгкостью решает «хватить среднюю историю томиков в восемь или девять, если Бог поможет». И. С. Тургенев, один из слушателей Гоголя, уверяет, будто бы все студенты были убеждены, что он «ничего

не смыслит в истории». Лекции начинал он фразами вроде следующей: «Азия была каким-то народовержущим вулканом». Скучал сам и видел, что всем скучно. «Я читаю один... Никто меня не слушает! Хоть бы одно студенческое существо меня понимало». На экзамен пришёл с головой, окутанной косынками, предоставил экзаменовывать слушателей декану и ассистентам, а сам молчал всё время. «Бойтся, что Шульгин (другой профессор) съѣт его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может»², — объясняли студенты. «Непризнанный взошёл я на кафедру и непризнанный схожу я с неё!» — с торжественностью заявляет он врагам своим, а друзьям — с циническою откровенностью: «Я расплевался с университетом». И в самом деле, в этой жалкой и смешной фигуре университетского Акакия Акакиевича с подвязанной щекой кто мог бы признать великого учителя, обладавшего, несмотря на недостаток сведений, гениальными историческими прозрениями?

Противоречие — и в самых простых, кровных чувствах, например в любви к матери. Любил ли Гоголь мать? Иногда его отношение к ней кажется бессердечным. Она сама нуждается, а он берёт у неё деньги и тратит «на франтовство, на разные фракы, сюртучки, галстуки, подтяжки, платочки». Деньги, полученные от матери для передачи в Опекунский совет, оставляет себе, без её ведома, и тратит на нелепую заграничную поездку, оправдываясь мнимою болезнью и страстью, от которой будто бы ему нужно бежать из Петербурга. Впоследствии сам называет этот поступок «безрассудным» — выражение, кажется, слишком снисходительное. «Чтобы *отомстить* вам и *рассердить* вас, я написал это», — пишет он матери по другому поводу: это грубо, жестоко. Так — с одной стороны; а с другой — стоит вспомнить, как в самые страшные минуты жизни обращается он к матери с просьбой помолиться за него и верить в чудо молитвы, как в свою последнюю святыню и спасение, — чтобы почувствовать, чем для него была мать, и чтобы воздержаться от лёгких приговоров. Некоторые из его обращений к матери напоминают ужасный, душераздирающий вопль, которым кончаются «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Посмотри, как мучат они его!.. Ему нет места на свете! его гонят!.. Матушка, пожалей о своём бедном дитятке». Один из самых строгих судей Гоголя сознаётся, что не мог бы отрицать в нем «*беспримерной доброты*» (Отзыв Иордана

у Шенрока в «Материалах», III, стр. 221). Эта простая человеческая доброта, способность простой и нежной любви сказались в той самоотверженности, с которой он, сам больной, целые дни и ночи напролёт ухаживал в Риме за своим умирающим другом, молодым графом Виельгорским³. На вопрос Аксакова, любил ли кто-нибудь Гоголя «исключительно как человека», — сумела бы ответить мать его, и притом так, что Аксакову сделалось бы стыдно за свой вопрос. И не только мать, — но и А. О. Смирнова, чужая Гоголю, но любившая его, как родного, и другие «жёны-мироносицы» этого «мученика».

Какая-то странная бесчувственность и вместе с тем чрезмерная, почти безумная чувствительность. Именно в то время, когда в нём всё наиболее кипит, пожирается внутренним огнём, он кажется снаружи, по собственному выражению, наиболее «деревянным, оболваненным, чёрствым и сухим». «У вас, в ваших мыслях, я остался с чёрствой физиономией, со скучным выражением лица». — «Если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь к вашим услугам». В обществе он всегда выглядывал каким-то «букою». «Il m'a paru gauche, timide et triste» [Он показался мне нескладным, робким и унылым (*фр.*)], — вот первое впечатление Смирновой. И потом, когда уже под внешней чёрствой корой открывается внутренний мир его, истинный ад, и заглянувший в этот ад готов жалеть и любить, — в лице Гоголя вдруг мелькает опять что-то совсем неожиданное, противоречивое, что-то беззаботное, «хохлацкое и плутоватое», выражение зоркой птицы, «внимательно-задумчивого аиста», как будто он только с любопытством наблюдает со стороны за тем, что в нём и в других происходит, как будто он к себе ещё равнодушнее, ещё бесчувственнее, чем к другим, так что в конце концов сострадающий остаётся в недоумении.

Противоречие — и в языке его. С одной стороны, безграничная власть над языком: не он ли расплавил алмазно-твёрдый стих Пушкина и перелил его в новые формы? С другой — какая-то детская беспомощность, неумелость, косноязычие. «Боюсь нагрешить против языка», — это вечный страх его. За границей он так отвык от русской речи, что самые простые выражения затрудняли его. «Слог и язык мой у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мною имеет право посмеяться едва начинающий школьник». «Возьмётся за перо — находит столбняк». «Перо в руках моих, как

деревянная колода, между тем как мысли мои состоят из вихря». Величайший реализм, меткость, точность слова: как будто оно не описывает, не изображает предмет, а само становится предметом, новым явлением, новой реальностью. И рядом с этим — фантастическая призрачность, невероятные преувеличения, гиперболы, исполинский «громозд». «Дико, громадно всё, — нечаянно определяет он себя в другом, — этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он». Самое любовное проникновение к действительности: «Ты изумишься, — пишет он одному приятелю в разгаре своего «мистицизма», — откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек... Я родился быть хозяином». Когда читаешь подробнейшие наставления Гоголя о полевых работах, саде, огороде, о том, как сажать овощи, как поливать их и ухаживать за ними («особенно позаботьтесь, чтоб было лучше для цветной капусты, артишоков и брунколей, которые я очень люблю»), то чувствуешь в этой, как будто самой прозаической чичиковской хозяйственности не менее, чем в поэтической любви его к Италии, к древности, один из «первозданных элементов», одно из двух мистических начал его природы — начало земли, «матери сырой земли». «Ум мой всегда был наклонён к существенности и к пользе более осязательной», — подводит он итог своей жизни. «Жизнь я преследовал в её действительности, а не в мечтах воображения». Всё это опять-таки — с одной стороны, а с другой: «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты!» — «Из-под самых облаков, да прямо в грязь!»

Так чрез всю жизнь его, как чрез великолепное здание, построенное из твёрдого камня, но с каким-то нарушением основных законов земной механики, земного равновесия, проходит одна длинная, сверху донизу, сначала едва заметная, тонкая, как волосок, но постепенно расширяющаяся и, наконец, бездонно зияющая трещина.

III

Это нарушение равновесия, которое сказывается во всём духовном составе его, от самого малого до самого великого — от щегольства безвкусными галстуками и жилетами до злоупотребления гиперболами, от хлестаковских преувеличений («сам государь занимает комнаты не ниже моих») до исполинских за-

гробных страшилищ, — это же самое нарушение равновесия, эта трещина сказывается и в его телесном составе, в его болезни. Что такое болезнь Гоголя? В каком отношении находится она к тому особому душевному состоянию, которое, по-видимому, неразрывно связано с ней, к так называемому «мистицизму» Гоголя? «Мистицизм» ли от болезни или болезнь от «мистицизма»? Кажется, и то, и другое предположения одинаково неверны. «Мистицизм» — болезнь духа и болезнь тела вовсе не находятся во взаимной причинной связи: обе они суть только следствия какой-то одной, более глубокой, первой причины, чего-то, что за телом и духом, какого-то первоначального несоответствия, несогласия, опять-таки *неравновесия* между телом и духом.

Трудно решить, когда, собственно, началась болезнь Гоголя. Кажется, он родился с нею точно так же, как Пушкин со своим непобедимым здоровьем. «Гоголь был болезненный ребёнок, — вспоминает школьный товарищ его, А. С. Данилевский. — Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло...» Двадцати четырёх лет жалуется Гоголь на ощущение «дряхлости»: «Скудельный состав мой часто одолевается недугом и крайне дряхлеет». Может быть, в детстве и юности причина болезни была по преимуществу физическая, но с годами, несмотря на часто повторяющиеся припадки, организм крепнет, и, вместе с тем, обнаруживается, что причина болезни отнюдь не только физическая, что особое состояние духа ежели не производит болезнь тела, то, во всяком случае, предшествует ей. Поверхностным наблюдателям кажется даже, что Гоголь — мнимый больной, что он воображает себя или притворяется больным. «Он считал себя неизлечимо больным и готов был советоваться со всеми докторами, хотя по наружности казался свежим и здоровым», — замечает биограф (Шенрок II, 117). «Он удивил меня тем, — рассказывает С. Т. Аксаков, — что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумлёнными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределённо и сказал, «что причина болезни его находится в кишках». Из Рима пишут осенью 1840 года: «Гоголь ужасно мнителен... Он ничем не был занят, как только своим желудком, а между тем, никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их отпускал иной раз». Гоголь вообще любил поесть: бес чревоугодия искушал его до конца жизни; знакомая ему с детства ма-

лороссийская поэзия лакомства отразилась и в ночных закусках «Старосветских помещиков», и в сказочных галушках, которые сами летят в рот, и в не менее сказочных кулебяках Петра Петровича Петуха; эстетическое обжорство сближает «монаха» Гоголя с монахом Рабле⁴. «Он рассказал мне, — пишет поэт Языков из Парижа, — о странностях своей, вероятно мнимой, болезни; в нём-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что *желудок его вверх ногами*». За несколько недель до смерти Григорий Данилевский нашёл его цветущим, полным сил и здоровья. На основании подобных отзывов можно бы прийти к выводу, что Гоголь кривляется и морочит друзей своих. Но это не так: болезнь его, несмотря на свою кажущуюся фантастичность, всё-таки вполне реальна — ведь умер же он от неё. Если в значительной мере он болен от мнительности, то и наоборот, может быть даже ещё в большей мере, — мнителен от болезни. Вот как он сам описывает обыкновенный ход своих припадков: «Среди совершенного здоровья и душевной ясности, как будто даже от избытка, от чрезмерности этого здоровья, этой грозовой силы жизни, рождается сначала смутное и, по-видимому, беспричинное, неудержимо растущее возбуждение; потом какой-то внезапный страх: словно крик Пана, страшный зов в тишине безоблачного полдня. Потом болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведён в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении, ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно...». «Я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, превращало в исполина, всякое незначительное приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, такую мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние». «У меня всё расстроено внутри, — признаётся он в 1849 г., года за три до смерти. — Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнёт развивать — и всё в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы». Итак, первое сотрясение, нарушение равновесия

происходит не в душе и не в теле, а где-то глубже, в самой глубине существа, — не там ли, где душа и тело ещё не два, а одно? Какое-то разногласие, разлад происходят в первозданном ладе, согласии души и тела. И эта болезненная зыбь, распространяясь, через душу захватывает тело и оттуда, в обратном движении, отражается снова в душе и всё растёт, как волна, которая в двойном разбеге своём ударяется то в одну, то в другую преграду. Внезапные страхи сливаются в один длительный «панический» ужас, от которого одно спасение — бежать с того места, где впервые слышался страшный «зов», «голос Пана». И Гоголь действительно бежит: все его бесконечные скитания не что иное, как бегство от себя самого. Бежит из Петербурга за границу, сам не помня, что делает, почти украв у матери деньги, в первый раз ненадолго, затем во второй, после представления «Ревизора» — уже на много лет. Но и там, на чужбине, не находя себе покоя, бегаёт из одного конца Европы в другой, из Европы в Африку, в Азию — от Барселоны до Иерусалима, от Неаполя — и, по крайней мере в мечтах своих — до Камчатки: «С какой бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, — чем дальше, тем лучше... Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, в слякоть, через леса, через степи, на край света!.. Клянусь, я бы был здоров!». Но только что он останавливается, внутренняя тревога, заглушённая внешним движением, пробуждается вновь, и с ещё большею силою, ещё явственнее слышится таинственный «зов». «Душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносит болезнь, бьётся с ней и выбивается из сил биться...». «Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто повеситься...». «Тягостнее всего беспокойство духа, с которым труднее всего воевать, потому что это сражение решительно на воздухе. Изволь управлять воздушным шаром, который мчит первым стремлением ветра! Это не то, что на земле, где есть колёса и вёсла». Здесь самое определённое физическое ощущение отражает, так сказать, метафизическую причину болезни: нарушение земного равновесия, законы земной механики, отсутствие точки опоры, головокружительный полёт над бездною. Такой же вещей символизм и в том ощущении зябкости, которое преследует его целые годы: точно это не простой озноб, а веяние какого-то нездешнего мистического холода. «Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается чем далее, тем более... Существование моё как-то странно. Я должен бегать и не

сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится труднее и труднее потому, что начинают пухнуть ноги, или, лучше, жилы на ногах». «Малейший холод на меня ощетинивается бурей». «Я истаиваю не по дням, а по часам... Вы бы ужаснулись, меня увидев...». «У меня иссушение всего тела и цвет мертвечины...». «Я мало чем лучше скелета. Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленой меди, руки почернели, превратившись в лёд, так что прикосновение их ко мне самому было страшно и, при 18 градусах тепла в комнате, я не мог ничем согреться». Не напоминает ли это замерзающего Кая в чертогах Снежной Королевы, у которого «лицо посинело, почти почернело от холода», и Данте, который с тех пор, как увидел грешников, замёрзших в вечных льдах ада, ничем уже не мог согреться?

В мнительности своей, доходящей до безумия, Гоголь мечется между надеждой на докторов и надеждой на чудо, между лекарствами и молитвами. «Наше выздоровление в руках Божиих, а не в руках докторов». «Молитесь обо мне — от врачей я уже не жду никакой помощи». «Чувствую, что больше всего мне следует надеяться на Святые места и поклонение Гробу Господню, чем на докторов и лечение». И тотчас же, однако, обращается снова к докторам; они его осматривают, ощупывают, выстукивают, выслушивают, ничего не находят, и ему кажется, что они недостаточно его осмотрели; не веря одному, бежит он к другому; объявляет, наконец, латинское словечко, от которого будто бы всё зависит: «У меня поражены нервы в желудочной области, так называемой системе *nervoso fascoloso*». Из одной лечебницы в другую, из Берлина в Дрезден, из Дрездена в Карлсбад, из Карлсбада в Греффенберг. «Я как во сне среди завёртываний в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной воды и ничего другого, кажется, и не слышу, и не знаю». Но и отсюда, из-под брызжущих кранов, из-под мокрых простынь опять отчаянный вопль: «Отправьте молебен!.. Молитесь, молитесь обо мне!.. Не переставайте обо мне молиться!». И эта агония длится целые годы, десятки лет. Гоголь как будто и не жил вовсе, а всю жизнь умирал.

«И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком», — вспоминает он об одном из своих припадков. В самом

деле, может быть, всего ужаснее в болезни Гоголя — это его совершенное одиночество. Не говоря уже о других, даже такой человек, как Пушкин, не понял бы нравственной причины его болезни. «Великий меланхолик», — определил он Гоголя и ничего больше не мог бы прибавить. Откуда эта «меланхолия», ежели не только от положения желудка «вверх ногами и от *nervoso fascoloso*». Пушкин гениальным чутьём своим, вероятно, понял бы, что не только; но откуда и к чему она, и что значит — это осталось бы для Пушкина такою же загадкою как для всех прочих друзей Гоголя, например, московских славянофилов, вроде Шевырёва и Аксакова, несмотря на весь их ум и талант, все-таки отчасти нравственных Собакевичей, которым казалось иногда, что Гоголь ничем особенным не болен, а просто кривляется, добрых людей морочит. Беда его была в том, что он первый заболел новой, никому на Руси до тех пор неизвестной, страшной болезнью, слишком нам теперь, после Л. Толстого и Достоевского, знакомой, — болезнью нашего религиозного *раздвоения*: «Это раздвоение всю жизнь во мне было», — говорит Достоевский; «Я соединил в себе две природы», — говорит Гоголь, определяя болезнь, которую в то время не только лечить, но и назвать не умели.

Он сознавал безнадежность своего одиночества. «Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно», — пишет он матери в девятнадцать лет. И впоследствии, уже в зрелом возрасте, одному из друзей своих: «Души моей никто не может знать». По словам товарища, жившего с ним несколько времени в Петербурге, «не было человека скрытнее Гоголя... Он был молчалив в высшей степени». Он был скрытен не потому, что не хотел, а потому, что не мог открыть то, что в нём происходило, — потому что всякая откровенность не привлекала к нему, а ещё более отталкивала людей. «Что ж делать? так уж, видно, мне на роду написано быть скрытным». «Говорить откровенно о себе я никогда никак не мог. В словах моих, равно как и в сочинениях, существовала всегда страшная неточность. Почти всяким откровенным словом своим я производил недоразумение и всякий раз раскаивался в том, что раскрывал рот... Мне недоставало такта и верной середины в словах». Именно той середины «между двумя началами», соразмерности, *равновесия*, которые он так чувствовал в Пушкине. «Я слышал сам, что моё душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно... Клянусь, бывают так трудны

положения, что их можно уподобить только положению того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевелить пальцем и подать знака, что он жив». Всё более и более погружаясь в одиночество, он молчал, пока был в силах молчать; когда же становилось ему слишком страшно, то уже не говорил, а кричал «благим матом», звал на помощь, как утопающий: «Найти бы хоть одну живую душу!..». «И хотя бы одна душа подала голос!.. Хотя бы одна душа заговорила!.. Точно как бы вымерло всё, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мёртвые души». «Соотечественники! Страшно...»

Слава великого писателя не нарушала этого одиночества. С двух противоположных сторон простирались к Гоголю одинаково пламенные, но сомнительные объятия: со стороны петербургских западников с Белинским — и со стороны московских славянофилов с Аксаковым во главе. Каждая сторона надеялась перетянуть к себе Гоголя и воспользоваться им как оружием против неприятельского стана: западники — против славянофилов, славянофилы — против западников. И те, и другие видели в нем не его самого, а только себя; ни тем, ни другим не было никакого дела до того, чем он жил и от чего умирал. Одинаково близки, одинаково чужды были ему обе стороны. А между ними волновалась ещё более чуждая, уже совсем безликая толпа, так называемая «публика»; и оттуда к нему доносились даже не человеческие голоса, а какие-то стихийные шумы, что-то нечленораздельное. «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» «Ревизору» смеялись до дурноты, но говорили, что пьеса — «неестественный фарс». Нечто в высшей степени искреннее, подлинное, своего рода крик сердца во всей его «святой простоте» выразился в отзыве одной замоскворецкой дамы: «Да, Гоголь всех смешил! Жалко! Употребить всю жизнь и такую краткую на то, чтобы служить обезьяною публике». Это голос из толпы нелитературной; а вот голоса литераторов или, по крайней мере, людей, прикосновенных к литературе: Владимир Панаев⁵ утверждал, что «Гоголю надо запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Лаврушки». Одни из критиков сокрушались, что Гоголь «не захочет возвыситься хоть на столько, чтобы не уступать Поль де Коку», по мнению других, «Мёртвые души» не следовало брать в руки из опасения замараться». «Я обожаю чистоту, — заявлял Сен-

ковский, — ваши зловонные картины поселяют во мне отвращение». Критик «Русского Вестника» Н. А. Полевой, обращаясь к «Мёртвым душам», восклицает: «Начнём с содержания — какая бедность!». «От Гоголя много ждали, — замечает с грустью критик «Северной Пчелы», — но он разрешился ничтожными «Мёртвыми душами». «Истинно русские люди» кричали с пеной у рта, что Гоголь «враг России». Таков суд «малых сих»; недалеко ушли от них и «великие»; с мнением русских Ферситов — Полевых, Сенковских, Булгаринных — почти совпадает и мнение Аполлона, вождя русских муз; «У Гоголя много таланта, — сказал однажды Николай I, — но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». Конечно, граф Орлов только выразил тайную мысль, носившуюся в самых высших кругах, когда осмелился заметить на повеление государя «заняться Гоголем»: «Он ещё молод и *ничего особенного не сделал*». Спрашивается, что предстояло бы сделать творцу «Ревизора» и «Мёртвых душ», дабы граф Орлов согласился признать, что сделано нечто «особенное»?

IV

Ежели когда-нибудь Гоголь обманывал себя надеждою на то, что «хоть одна живая душа в России подаст голос» на призыв его, то надежда эта должна была окончательно исчезнуть после появления «*Переписки с друзьями*».

Как бы кто ни судил об этой книге, несомненно, что известными частями её выразилась подлинная человеческая личность, живое лицо Гоголя — не то, чем желали бы его видеть друзья или недруги, а то, чем он был в действительности. Гоголь давно знал, что он один; но тут только понял вдруг всю глубину своего одиночества. Он ожидал, что его не поймут, но то, что случилось, превзошло все его ожидания: связь великого писателя со временем, историей, обществом, государством, народом оказалась вдруг одним сплошным недоразумением; всё разлетелось, лопнуло, как мыльный пузырь. Тут произошло нечто в самом деле единственное, ни с чем не сравнимое, кажется, не только в русской, но и во всемирной литературе. Это был не провал литературный: не сам он провалился, а то, на чём он стоял, земля под ним провалилась, как во время землетрясения. И он остался вдруг уже не в одиночестве, а в какой-то страшной пустоте, в каком-то безвоздушном пространстве.

«Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, чем за эти позорные строки», — писал Белинский Гоголю по поводу *«Переписки с друзьями»*. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете?». Христианство Гоголя называет он «дьяволовым учением». «Христа-то зачем вы примешали тут?». «Или вы больны — и вам нужно спешно лечиться, или... не смею досказать своей мысли» (это значит — или вы мерзавец). «Гимн властям предержавшим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника».

«Это такого рода обвинения, — ответил впоследствии Гоголь Белинскому, — которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца». Но это то именно «обвинение» или, вернее, клевета, — как это иначе назвать? — должна была показать Гоголю, что состояние, в котором писалось умирающим Белинским знаменитое письмо, было неменяемым, более похожим на подлинное сумасшествие, чем предполагаемое сумасшествие самого Гоголя. *«Залаял собакою, завыл шакалом, зажмурил глаза и весь отдался бешенству»*, — так выразился сам Белинский о своём тогдашнем состоянии. Но в этом зверином «лае» и «вое» бесноватого (вот когда ещё начались «Бесы» Достоевского!) была какая-то страшная человеческая правда, искренность, которая заслуживала, требовала ответа или, по крайней мере, «заклятья бесов». И Гоголю, казалось бы, слишком легко было ответить не только на то обвинение в подлом угодничестве перед правительством, на которое он и ответил действительно в «Авторской исповеди», но и на все остальные обвинения. Он уже и начал было ответ или «заклятие»: «О, да внесут святые силы мир в вашу страждущую душу!.. О, как сердце моё ноет за вас в эту минуту!.. И отчего у вас такой дух ненависти?»... Он указывает Белинскому на его «отважную самонадеянность», «пылкость невоздержанного рыцаря и юноши». «Опомнитесь, куда вы зашли!.. Какое невежество!.. Нельзя, получа лёгкое журнальное образование, судить о таких предметах... Журнальные занятия выветривают душу... вспомните, что вы учились кое-как... Начните учение...». Гоголь мог бы также напомнить Белинскому, как он, плюющий ему в лицо, ещё недавно чуть не на коленях со слезами, как провинившийся школьник, молил у него проще-

ния. — «Я изрыгнул хулу на ваши статьи (в «Арабесках»), — писал Белинский Гоголю из Петербурга от 20 апреля 1842 года, — не понимая, что тем изрыгаю *хулу на Духа*. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть... Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости... Вы у нас теперь один, и моё нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашей судьбою; не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества!..» (Матер. Шенр. IV, 918). Да, Гоголь, казалось бы, мог уничтожить Белинского. Почему же он этого не сделал? Почему разорвал уже набросанную черновую письма? Из жалости к умирающему, из презрения к «бесноватому»? Едва ли. Кажется, в словах Белинского, несмотря на всю их слишком очевидную «дикую нелепость», невменяемость, Гоголь смутно и болезненно почувствовал зерно какой-то почти невысказанной, но неотразимой, ужасной для него правоты. В чём именно заключалась эта правота, мы увидим впоследствии. Во всяком случае, Белинский достаточно любил Гоголя, чтобы иметь право его ненавидеть, — тут око за око, зуб за зуб: удар, нанесённый «отступничеством» Гоголя Белинскому, равен был удару, который он сам наносил теперь своему кумиру. Но уже без всякой любви, а следовательно, и без всякого права на ненависть, позднейшие западники продолжали это оплевание Гоголя как «последнего из мерзавцев». К тому же Белинский действительно «мало учился»: в письме его — первобытное полуазиатское варварство тогдашней русской полемики; но что сказать о европейски просвещённом Тургеневе, который не в пылу борьбы, а много лет спустя, с невозмутимым хладнокровием утверждает по поводу «*Переписки с друзьями*»: «Более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, *пророческого и прихлебательского* тона в литературе не существует!» (Соч. Тургенев, посмертное изд., т. I, 72). Что сказать о высокомерии Чернышевского, который осаживает Гоголя таким простым и «убийственным» будто бы возражением: «Ты читал не те книги, какие тебе нужно было читать!» Что сказать, наконец, об олимпийском спокойствии современных биографов, которые христианскую трагедию Гоголя, этот, по их мнению, «больной бред изувера», «разъедавшую его нравственное существо гангрену» объясняют непониманием слова «прогресс» и сожалеют о том, что он «не нашёл в себе силы при

счастливым руководителем (кого — Белинского или Аксакова, которые оба считали его не то «пророком», не то «мерзавцем»), остановиться на скромной задаче преследования сатирой общественных язв» (Все эти мнения высказаны г. Шенроком в его книге «Материалы для биографии» Г. IV, стр. 6, 16, 107, 193). Когда озираешь судьбу Гоголя в русской литературе до наших дней, то невольно вспоминается его собственное слово: «*Терпеть презренье от презренных*».

Письмо Белинского было только первой молнией той грозы, которая должна была разразиться над Гоголем: за молнией последовал, как он сам выразился, «вихрь недоразумений», в котором уже всё смешалось, все враждебнейшие друг другу стихии слились в одном яростном натиске. «Как же вышло — спрашивал себя Гоголь с недоумением, — что на меня рассердились все до единого в России? Этого я не могу понять... Восточные, западные, нейтральные — все»... Дошло до того, что в торжестве над «провалившимся» Гоголем прогрессивный Белинский соединился с ретроградным Н. Ф. Павловым⁶, который в «Московских Ведомостях» доказывал с изумительной будто бы «ловкостью диалектики», что «сам дьявол напитал слова Гоголя духом неслыханной гордости». В то время как распространялась молва о его желании пролезть посредством «*Переписки*» в воспитатели к сыну наследника, сам наследник, будущий царь-освободитель, выражал сочувствие цензуре, которая оставила от книги только «оглодыш». Между тем как западник Чаадаев видел «в падении Гоголя следствие печальной ошибки славянофилов», сами славянофилы видели в нём следствие печальной ошибки западников. «Не вы ли, беглец родной земли, жили на западе и вдыхали в себя его тлетворные испарения?.. — писал Гоголю Конст. Аксаков. — Книгу вашу считаю полным выражением всего зла, охватившего вас на западе. Вы имели дело с западом, этим воплощённым лгуном, и ложь его проникла в вас». Ожесточение западников до известной степени понятно; но точка зрения славянофилов представляется лишённой уже всякого не только религиозного, нравственного, общественного, но и простого здравого смысла. Ведь ежели не внутреннее ядро (ядра тогда ещё никто не раскусил), то, по крайней мере, внешняя оболочка «*Переписки*» была более славянофильской, чем сами славянофилы. Чего же им недоставало? Почему в один голос с «бесноватым» Белинским и они, точно

взбесившись, завопили: «В этом человеке бес!». Что тут вообще действовали какие-то «бесы», в том, кажется, не может быть сомнения; только вопрос — в ком: в заклинаемом или в заклинателях? «Гордость — на эту уду поймал тебя злой дух, принявший вид ангела света», — предостерегает Погодин. «Всё это ложь, дичь и нелепость, и, если будет напечатано, сделает Гоголя посмешищем всей России», — объявляет С. Т. Аксаков ещё до выхода книги. «Вы грубо и жалко ошиблись, — пишет он самому Гоголю. — Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человеку, оскорбляете и Бога, и человека». «Вы впали в прелесть... Молю Господа... да будет над вами благодать!» — заклинает «беса» некая Свербеева⁷, дама тоже славянофильского кружка. В общей свалке задушен был и ни в чём неповинный друг Пушкина, старик Плетнёв: за сочувствие «*Переписке*» объявили его «старым колпаком». Тогда-то снова почувствовал Гоголь то отвращение к самому, так сказать, вкусу и запаху славянофильства, которое он уже высказал однажды убийственно-метким словом: «После их (славянофильских) похвал только плюнешь на Россию».

Запевалою бранного хора, С. Т. Аксаковым, найдена была окончательная, кажется, и до сей поры неотменённая формула «общественного мнения» о христианстве Гоголя: «Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделала его сумасшедшим». Мысль о сумасшествии Гоголя понравилась всем и всех успокоила: это был самый простой и лёгкий выход из положения русской мысли, всё же несколько затруднительного и даже как будто безвыходного. Гоголь — или сумасшедший, или мертвец. Эту дилемму, поставленную ещё Белинским, разрешили славянофилы, присоединив к мысли о сумасшествии Гоголя мысль о «плутовстве в сумасшествии». «Гоголь точно помешался, в этом нет сомнения, — пишет С. Т. Аксаков, — но в самом помешательстве много плутовства. Сумасшедшие бывают плуты и надуватели: это я видел не раз, и помешательство их делается и жалко, и гадко». — «Над живым телом ещё живущего человека, — застонал, наконец, Гоголь в отчаянии, — производилась та страшная анатомия, от которой бросает в пот даже и того, кто одарён сильным сложением». Бедная старушка Н. Н. Шереметева⁸, любившая Николая Васильевича в простоте сердца, до такой степени была напугана всем этим славянофильским жупелом, что бегала к Иверской не раз молиться за своего бедного друга.

Петербургские либералы соперничали с московскими консерваторами в благонамеренной свирепости. Один из школьных товарищей Гоголя в Петербурге не принял его, когда последний заехал к нему по старой памяти вскоре по выходе «*Переписки*» в 1848 году. Говорят, Гоголь, поражённый отказом, не выдержал и зарыдал тут же у двери. Случай этот впоследствии рассказывался будто бы с кафедры студентам, по всей вероятности, не без нравоучительной цели — показать молодому поколению, как следует честным людям поступать с такими «мерзавцами», как автор «*Переписки*» (Материалы Шенрока VI, 556). Если это и легенда, то всё-таки в образе Гоголя, рыдающего, как падший ангел у врат потерянного рая, у запертой двери честного русского либерала, есть что-то символическое, бросающее свет в самую тайную глубь русской общечеловечности. «Как много в человеке бесчеловечия! — мог бы ещё раз воскликнуть Гоголь по поводу всей этой либерально-консервативной травли, — как много скрыто свирепой грубости в утончённой, образованной светскости и, Боже, даже в таком человеке, которого свет признаёт благородным и честным».

Если собрать и оглянуть всё вместе, то зрелище представляется единственное: Гоголь объявлен «мерзавцем» за то, что пробирался в воспитатели к великим князьям посредством «*Переписки*»; цензура режет её; свобододлюбивый наследник сочувствует цензуре; «лучшие друзья» распространяют и даже самому Гоголю сообщают слух о том, что он сошёл с ума («Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросами: — Скажите, пожалуйста, правда это, что Гоголь с ума сошёл?» — пишет ему Шевырём); Белинский «лает собакой», «воет шакалом»; старушка Шереметева молится у Иверской, а славянофилы отчитывают от семи бесов тлетворного запада того, кого сами же скоро признают «мучеником христианства».

В самом деле, что за «вихрь недоразумений»! Как будто не Гоголь, а всё русское общество сошло с ума. И в этом сумасшествии что-то фантастическое: не «чёрт» ли это, которого Гоголь хотел осмеять, плетёт вокруг него свою самую смешную и страшную сплетню, мстя смехом за смех?

Одно лишь ясное сознание правоты могло спасти Гоголя. Чувство правоты у него было, но сознания не было. То положение, в которое он поставил себя «*Перепиской*», требовало силы героя, «богатыря», как он сам выражался. А по природе своей он был мученик, но не герой.

И Гоголь не выдержал, ослабел, отступил, запросил пощады. «Ради самого Христа, — молил он, увы, злейшего из врагов-друзей своих, С. Т. Аксакова, — прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия войти в моё положение, потому что душа моя изныла... Как у меня ещё совсем не закружилась голова, как я не сошёл ещё с ума от всей этой бестолковщины — этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце моё разбито, и деятельность моя отнялась. Можно ещё вести брань с самыми ожесточёнными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут всё изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог... Тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказать от пера и от всего удалиться...». Он сделал худшее, что мог сделать в своём положении: не только усомнился в правоте своей, но и высказал своё сомнение; а вид сомнения в подобных умственных травлях возбуждает такую же ярость в нападающих, как в гончих вид крови на затравленном звере. Гоголь сам называет книгу свою «чудовищной». «Я точно моей книгой показал исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства... А дьявол, который тут как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было без умысла учительствовать...». «Я не имел духу заглянуть в неё («Переписку»), когда получил её отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками...». Он видит в книге своей «публичную оплеуху, которую попотчевал себя в виду всего русского царства». «Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, ещё сильнейшая оплеуха мне самому... Я размахнулся Хлестаковым...». От этого страшного позора утешает он себя ещё более страшным утешением: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!...». «Мне также нужна публичная оплеуха, и даже, может быть, более, чем кому-либо другому». Это неимоверно, это переступает все границы литературы: так никто никогда не писал; тут в самом деле — или «мерзавец», или «святой».

Все отреклись от него, и он сам от себя отрёкся, пал, как только может пасть человек.

И всё-таки он был прав.

V

Главная ошибка его обвинителей заключалась в предположении, будто бы перед изданием «Переписки» произошло с ним

что-то особенное, какой-то религиозный переворот, тогда как ничего подобного не происходило в действительности. В «Перепишке» он шёл тем же путём, которым шёл всегда. Мысль религиозная, главная, можно сказать, единственная мысль всей жизни его выразилась здесь яснее, чем в других произведениях, потому что, именно в то время мысль эта перед ним выступала яснее, чем когда-либо.

В 1825 году из Нежина пятнадцатилетний Гоголь пишет матери: «Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего... Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести». «Внутренно я не изменялся никогда, — писал он уже в зрелые годы. — С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнениях главных». «Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду». «Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я ещё не встречал ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет». Не друзья-враги, вроде славянофилов, а настоящие друзья Гоголя, которые, если и не совсем понимали, то всё-таки любили его искренно и просто, как человека, в «Перепишке» узнали подлинную живую личность, живое лицо друга: хорош или дурён, но таким он был в действительности; он сказал о себе правду, по крайней мере ту, которую умел сказать, которую сам знал о себе. «Я вас совершенно узнаю в ваших письмах; для меня в них всё просто, понятно, — писала ему графиня Виельгорская. — Мне кажется, что, читая их, я вас слышу, как вы часто с нами говорили... Вы высказали вашу душу, и мы вас поняли». Жуковский, который присутствовал при возникновении «Перепишки», прямо говорит: «Когда ты мне читал и то, и другое, имея тебя самого перед глазами, я был занят твоей личностью, зная, как всё, слышанное мною, было искренним выражением тебя самого». Так думала и А. О. Смирнова, подруга Пушкина; так думал бы, конечно, и сам Пушкин. Он посоветовал однажды Гоголю написать *историю русской критики*. Из этого совета выросла «Перепишка», точно так же, как из двух пушкинских анекдотов выросли «Ревизор» и «Мёртвые души». Кажется, Пушкин, предсказавший всю деятельность Гоголя, гениальным чутьём своим чуял, что деятельность эта не может вместиться в чисто художественном творчестве, что Гоголь соз-

дан не для одних «звучков сладких и молитв», но и для какой-то новой «битвы», для какого-то нового, самому Пушкину неведомого действия. «Переписка» и есть первый, ещё слабый, потому что слишком ранний, опыт, завещанный Пушкиным русской критике не в старом, узком смысле публицистики, как поняли критику славянофилы и западники Аксаковы, Шевырёв, Добролюбов, Писарев, Чернышевский и даже в значительной мере Белинский, а в смысле новом, *нашем*, как его никто не понимал до нас, — критики, как вечного и всемирного религиозного сознания, как неизбежного перехода от поэтического созерцания к религиозному действию — от слова к делу. Надо было реально испытать этот *критический* переход, как мы его испытали за последний полувек; надо было увидеть, как мы видели в Л. Толстом и Достоевском, конец русской литературы, т. е. конец чисто художественного, бессознательного, пушкинского творчества («звучков сладких и молитв») и, вместе с тем, начало нового, религиозного сознания, новой «битвы», нового действия, для того чтобы понять всё огромное, в этом смысле пророческое значение «Переписки». В Пушкине была доньше вся Россия; но «нельзя повторять Пушкина», «другие дела начались для поэзии», — вот главная мысль Гоголя-критика. Тут увидел он дальше, чем Достоевский, который всё-таки желал повторять Пушкина и не видел за ним ничего. Друг Пушкина, старик Плетнёв, высказал однажды поразительную мысль, как будто внушённую ему из-за гроба вещим другом: «Переписка» *есть начало русской литературы*. Если заменить здесь слово «литература» словом критика, разумеется, не в старом, а в вечном и новом смысле, то есть в смысле *перехода от бессознательного творчества к творческому сознанию*, то это и будет наша мысль. В «Переписке» нам слышится именно конец, совершенство, «неповторяемость» Пушкина, т. е. конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, — конец поэзии — начало религии.

«Мне ставят в вину, что я говорил о Боге... Что же делать, если говорится о Боге?.. Что же делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не моё дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право» (Изд. Кулиша, VI, 373). Вот и до сей поры никем не опровергнутое, неопровержимое право, правота Гого-

ля. Он первый заговорил о Боге не отвлечённо, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действенно — так, как ещё никто никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо всё-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского всемирного спасения. «Дело идёт теперь не на шутку», — предостерегает он, — и для него это действительно так. Мудрость ли это или безумие, — он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чём говорил. В духовном завещании обращается к «друзьям своим», т. е. ко всем русским людям: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Это последние слова Гоголя, обращённые к нам: в них весь смысл его жизни, и он имел право их сказать, потому что заплатил за это право жизнью.

Он почувствовал до смертной боли и до смертного ужаса, что христианство для современного человечества всё ещё остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным. «Церковь, — говорит он, — созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». — «Христиане!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане». Христианство не входит в жизнь, и жизнь не входит в христианство: они разошлись и с каждым днём всё более расходятся. Христианство оказалось величайшим отрицанием жизни, жизнь — величайшим отрицанием христианства. Христианство сделалось безжизненным, бесплотным, бездейственным, а жизнь, плоть, действие — нехристианскими. Всё современное европейское человечество раздирается этим противоречием. «И непонятною тоскою, — говорит Гоголь, — уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь, всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днём неизмеримейшего роста. Всё глухо, могола повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире». Положение России, утверждает Гоголь, ничем не лучше положения западной Европы. «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? — Никого мы не лучше, а в жизни ещё неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе». России

угрожают те же «страхи и ужасы», как Европе: «Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились ваши мысли и вы подумали бы, как бы убежать из России. Но куда бежать? — вот вопрос. Европе пришлось ещё труднее, нежели России. Разница в том, что там никто ещё этого вполне не видит».

И вместе с тем он хотя, повторяю, и не сознаёт, но зато предчувствует с такою силою, как никто из людей современной Европы, что в христианстве заключена возможность нового соединения, нового синтеза, «возможность примирения тех противоречий, которые не в силах примирить» человечество помимо Христа. «Церковь, — говорит он, — может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы». Она «одна в силах разрешить все узлы недоумения и все вопросы наши». Здесь Гоголь противопоставляет церковь восточную — западной, впадая таким образом в противоречие с самим собой: он ведь только что сказал, что мы вовсе не лучше, а *«хуже всех прочих»*, что и на Востоке, так же как на Западе, церковь не вошла в жизнь. Слишком ясно, что в этом смысле одностороннего аскетизма, отречения от жизни, отрицания жизни, подмены святой плоти бесплотною святостью восточное христианство шло тем же путём, что и западное; можно даже сказать, что тень христианской ночи, монашество, распространялось именно с Востока на Запад, а не с Запада на Восток. Гоголь под «церковью восточною православною» понимает не прошлую или настоящую, историческую, а грядущую, сверхисторическую, мистическую церковь христианства *воистину вселенского*. Недаром И. С. Аксаков утверждал, что Гоголь в религиозных исканиях своих стремился разрешить задачу «исполински страшную», *«которой не разрешили все 1847 лет христианства»*. Это так: Гоголь, действительно, хотя и в очень редких, но самых светлых точках религиозного сознания своего противопоставлял свой собственный взгляд на Христа всему историческому христианству, *как западному, так и восточному*. Правда, он делал это ещё слишком неявно, бессознательно, слишком часто смешивал православие византийское или русское с действительно вселенским, католическим, церковь настоящую с будущей. Но для нас теперь уже ясно, что только в этой последней действительно заключён, как утверждает Гоголь, «полный и всесторонний (а не односторонне-монашеский) взгляд на жизнь, видимо сбережённый для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех

его верховных силах. В ней дорога и путь — как устремить всё в человеке в один согласный гимн». Последняя цель христианства для Гоголя есть всемирное «просвещение». «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме (значит, могли бы мы прибавить, и не только в духе, но и в плоти, не только в небесном, но и в земном), — пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви: «Свет Христов просвещает всех!» Гоголь не противопоставляет ни христианства просвещению, как славянофилы, ни просвещения христианству, как западники, — он соединяет эти «два начала» в одно. Гоголь с такой силой, как никто из людей современной Европы, почувствовал, что первая и последняя сущность христианства — не мрак, а свет, не отрицание, а утверждение мира, не распятие, а воскресение плоти, не бесплотная святость, а святая плоть. Он первый почувствовал «весеннее дыхание» самого древнего и нового из праздников христианства: «Праздник Светлого Воскресения воспряднуется как следует прежде у нас, нежели у других народов... Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые призраки его так ясно носят по лицу земли нашей: раздаются слова: *Христос воскрес!* и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас. Где носят так очевидно признаки, там недаром носят; где будят, там разбудят... И твёрдо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих в разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твёрдо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твёрдо верит тому и говорит: у нас прежде, нежели во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресение Христова!»

Недаром этими словами кончается «Переписка» Гоголя. Здесь достиг он высшей точки прозрения, которой когда-либо вообще достигал, здесь он почти видит то, что мы уже совсем увидели. Это ещё не мысль, не сознание, а только пророческое предчувствие, только смутное чаяние. Но устремление этого чаяния уже совпадает с нашим последним религиозным сознанием: от

христианства старого, тёмного, исключительно монашеского, уединяющего, к христианству новому, светлому, соединяющему, вселенскому, от умерщвления к воскресению плоти, от первого — в немощи и бесславии — ко второму Пришествию — «в силе и славе» — таков путь, общий у Гоголя с нами.

VI

Гоголь говорит: «из двух начал явился Пушкин», т. е. вся русская, по существу своему, уже вселенская поэзия; он мог бы прибавить: из тех же самых двух начал явится и новое вселенское христианство; в нём высший синтез, соединение, равновесие двух начал — плотского и духовного, человеческого и Божеского, земного и небесного.

Но гениальным прозрением своим прикоснувшись к синтезу только в одной точке своего религиозного сознания, Гоголь не устоял на ней. Равновесие, тотчас же нарушившись и здесь, так же как и во всём остальном существе его, нарушалось всё более и более — до совершенного хаоса. Искра сознания потухла, и он остался ещё в большей тьме. Как могли другие увидеть его, когда он сам себя не видел? Всё смешалось опять: новое со старым, вечное, вселенское с временным, византийским или русским; последнее соединение с последним раздвоением. Вместо обещанного синтеза плоти и духа, земли и неба является более неразрешимая, чем когда-либо, антитеза, противоречие.

«Жить в Боге значит уже жить вне самого тела, а это невозможно на земле, ибо тело с нами». Если это так, то и само христианство невозможно. *«Чтобы отселе в ваших глазах как бы вовсе не существовало вас самих».* *«Позабудьте о себе, как бы вас и не было вовсе на свете».* Не какая-либо часть или свойство плоти, земли, любви к себе, — а вся плоть в существе своём, как мистическое начало, противоположна другому началу, как зло — добру, вечное да — вечному нет, как проклятое, бесовское — святому, божескому. Здоровье тела — состояние скотское. *«Заплывёт телом душа... Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему здоровья и счастья».* Или Бог, или зверь, — но не Богочеловек. Вместо святой плоти — бесплотная святость. Дух есть отрицание плоти, Бог — отрицание мира. Не отрицание для утверждения, а голое отрицание. *«Вечная жизнь перед временной — то же, что всё перед ничто».* Некогда Гоголь

верил, что «есть страсти, которых избрание не от человека... Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечное, зовущее, неумолкающее во всю жизнь... Всё равно, в мрачном ли образе или пронеслись светлым явлением — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага»... В них «мудрость небес»; в них какая-то божественная «тайна». Когда Гоголь это писал, он понял бы, почему страдания самого Господа названы «страстями»; понял бы, что здесь не одно совпадение слов. Теперь для него страсть значит грех, бесстрашие — святость. «Берегитесь всего страстного, — твердит Гоголь, — берегитесь даже в Божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог, и в нём только даёт узнать себя». Некогда христианство было для него величайшим деланием, новым героизмом, «богатырством». Теперь становится оно величайшим буддийским «неделанием», отречением от мира, бездейственным созерцанием. «Проповедник *католичества* восточного должен выступать так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего голоса, исходящего из души, в которой *умерли все желания мира*, всё бы подвинулось...». «Здесь католичество восточное, утреннее, сливается с западным, вечерним в один вселенский мрак». «Религия наша и католическая совершенно одно и то же», — говорит сам Гоголь. Недаром Шевырёв предостерегал его: «Берегитесь этой заразы». Старая песнь скорби и ужаса, звучащего сквозь грозный гул органа в средневековых соборах: *Dies irae, dies illa* [Начальные слова католической заупокойной молитвы (*ред.*)] — заглушает новую песнь, которая должна бы прозвучать сквозь радостный гул «вселенских колоколов» в солнечно-светлом храме грядущего христианства, во вселенском соборе Святой Софии, Премудрости Божией: Христос воскресе». Не умерщвление для воскресения, а умерщвление без воскресения. Не страх к веселию сердца, а только страх к страху, один бесконечно-растущий страх: «*Страшусь всего*», — определяет сам Гоголь источник всего христианства. «Я ни во что теперь не верю и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несёт мне запахом могилы». — «Оно на краткий миг», шепчет глухо внятный мне голос... Радостью своей мы можем только оскорбить Бога; не такое время, чтобы кому-либо теперь радоваться. Никакой радости, никакой свободы: «Бог хочет нас *заставить насильно* вспомнить о том, что нужно пове-

сти другую жизнь, *насильно* хочет нас спасти». Сущность христианства — не свет, а мрак: «*Свету* далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как *мрачного монастыря*». Но всё же последняя цель этих «небесных истин» — обратить весь мир в один «мрачный монастырь». Христианство — это как бы нависший свод могилы, чёрное, не земное, земляное небо над чёрной, мёртвой землёй; христианство — не всемирное «просвещение», а всемирное помрачение; не свет во тьме, а тьма во свете мира. И в бездонной глубине этой тьмы шевелятся исполинские страшилища, «в бездонном провале мертвецы грызут мертвеца»: «Ещё один всех выше, всех страшнее, хотел подняться от земли, но не мог, не в силах был этого сделать — так велик вырос он в земле» («*Страшная месь*»). Понимал ли сам Гоголь, кто этот «выросший в земле великий, великий Мертвец», который хочет и не может воскреснуть, «смертью смерть победить»? Белый цвет новых брачных одежд, обещанных в Апокалипсисе, белый цвет воскресения, в котором все цвета радуги сливаются в один, снова подменён чёрным цветом старых безбрачных одежд, монашеским чёрным цветом смерти, в котором все цвета радуги-жизни уничтожаются. «Христианство не удалось». Жених не пришёл. Гасите светильники. Христианство оказалось не огнём, которого никакая вода не погасит, а водой, которая гасит всякий огонь. Погасли светильники. Жених не пришёл.

«Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни... Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить всё, что ни есть на свете, видя во всём одно бесовское», — предостерегал Гоголь других, а себя самого не предостерёг. Замечательно, что самый глубокий и верный отзыв о «*Переписке*» принадлежит одному из ближайших друзей Пушкина, брату женщины, которую он любил, — А. О. Россет, так что и здесь опять, как в отзыве Плетнёва, звучит как бы загробный голос самого Пушкина: «Какой господствующий тон книги? Тон болезненной слабости телесной, напуганного воображения, какого-то уныния... *Мне кажется, что, представляя христианство в его настоящем духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратишь человека ко Христу. Когда церковь просветлит или высветлит всего насквозь человека, — человек этот выразится в противоположной вам форме...* Он покажет примером, что человек может жить в мире Христом и для Христа — без уныния и без страха, ибо «любовь изгоняет страх». В одном

только ошибался Россет, именно в том, что видел причины «этой слабости, уныния и страха» в личных свойствах Гоголя, а не в общих свойствах всего исторического христианства, всего «католичества восточного», так же как и западного.

Если бы у Гоголя не было вовсе прозрений в новое христианство, он мог бы остановиться и успокоиться на старом. Но слишком стремительно рванулся он вперёд. Слишком многое увидел для того, чтобы это прошло для него безнаказанно. Движение назад равно было движению вперёд. Не достигнув сверхисторического, он упал ниже, чем историческое христианство. Не найдя будущего в будущем, стал искать его в настоящем и в прошлом. От белого цвета соединения, через чёрный цвет уединения, монашества, к серому цвету смешения, середины, пошлости; от Иоанна Сына Громова, через Иоанна Лествичника к московскому царю Ивану, к попу Сильвестру с его «Домостроем»⁹, — таков обратный путь Гоголя, его истинная «реакция». «В идеалах «Домостроя», — говорит он, — слышна возможность основания гражданского на честнейших законах христианских». Лучше «Домостроя» нечего искать. Он усматривает в нём одно из самых отрадных явлений русского духа: «мы видели *соединение* Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропчущую на Марию, но согласившуюся с тем, что она избрала благу часть». Кажется, он искренне верил в реальную возможность вернуться современным русским людям к «Домострою»; он даже придумывал способы перестроить всю новую Россию в хозяйственные клетушки, кремлёвские терема и часовни по плану благовещенского попа Сильвестра. «Как сделать, — спрашивает Гоголь, — чтобы за церковью вновь утверждено было то, что должно принадлежать Церкви? Словом, как возвратить всё на своё место? В Европе это сделать невозможно. Она обольётся кровью, изнеможет в напрасных борениях и ничего не успеет. В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор... и так просто... Патриархальностью жизни своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с её пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту... Так же как на водворение обычаев, *может подействовать генерал-губернатор и на законное водворение Церкви в нынешнюю жизнь русского человека*: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, самими мерами»... — «Христос научит вас, — обращается Гоголь

к одному из этих таинственных избранников, — будьте отец истинный всем». Так вот кто решит «исполински-страшную задачу, которой не решили 1847 лет христианства», вот кто спасёт вселенское православие — патриархальные русские генерал-губернаторы, живущие по «Домострою», преображённые сквозники-дмухановские! Отсюда — оправдание крепостного права, как учреждения глубоко народного и христианского. Если бы Чичиков сошёл с ума и обратился в христианство, он придумал бы что-нибудь подобное. Слишком понятно, что Белинский должен был просто взбеситься, «залаять собакою, завывать шакалом» от такого «христианства». Здесь — бессознательная правота Белинского, которая, во всяком случае, стоит противоположной, столь же бессознательной, правоты Гоголя. В своём простодушном безбожии («Русский народ самый атеистический из всех народов»), в своём антихристианстве Белинский все-таки ближе к Христу, чем Гоголь в таком «христианстве».

Гора родила мышь. Начал гладью, кончил гадью. От хлестаковской «лёгкости» — к чичиковской «основательности». «Размахнулся Хлестаковым», обернулся Чичиковым. Вместо громового удара звонкая на всю Россию «оплеуха самому себе». Не столько «исполинское страшилище», сколько исполинская карикатура. Не лик Христов, а как в письме сумасшедшего Кириллова в «Бесах» у Достоевского — какая-то «рожа с высунутым языком», едва ли не рожа самого «чёрта без маски».

VII

Итак, внутренний провал «Переписки» соответствовал внешнему. Теперь, когда все покинули Гоголя, он остался наедине со своим чёртом для последней битвы.

Сознание говорило ему: умертви своё тело; «жить в Боге значит уже жить вне самого тела. Но это невозможно, пока человек на земле, ибо тело с нами», — возражала сознанию бессознательная стихия, «первозданный элемент», заложенный в Гоголя и казавшийся ему теперь «языческим», — «грешною плотью». Чем больше подавлял, умерщвлял он своим «христианским» сознанием эту бессознательную стихию, тем глубже скрывалась она, уходила от света сознания и здесь становилась, действительно, грешною, тёмною, демоническою, — скрывалась до времени, копилась в тишине, изредка только обнаруживаясь взрывами.

По рассказам очевидца, после долгих месяцев болезни, уныния, страха, именно в то время, когда этого, казалось, можно было всего менее ожидать, овладевали Гоголем «порывы *неудержимой весёлости*; — в эти редкие минуты он болтал без умолку, острота следовала за остротой, и весёлый смех его слушателей не умолкал ни на минуту». Он казался вдруг совсем здоровым; так же внезапно исцелялся, как внезапно заболел: точно «припадками» здоровья, чрезмерной силы жизни — обратно-подобные припадкам болезни. В измождённом постнике, монахе, «со смиренным видом, с потухшими очами и тихим потрясающим гласом, исходящим из души, в которой умерли все желания мира», — мелькает прежний Гоголь, «вольный казак», который «глядит на жизнь, как на трын-траву», и способен, «встав поутру с постели, хватить в одной рубашке трепака по всей комнате». Целые месяцы смотрит «букую», твердит уныло: всё прах, всё грех, страшусь всего, — пока вдруг опять не проснётся, «как встрёпанный». «Проходя однажды с Анненковым в Риме по глухому переулку, он до того воодушевился, что, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону». В деревне у Смирновой огорчает и пугает всех своей угрюмостью, как вдруг затевает игру с детьми — «выдумывает» луну: «достаёт пустой круглый ящик, в котором были привезённые из Константинополя лакомства (халва и рахат-лукум), вынимает дно ящика, наклеивает бумагу, намазывает её маслом, приклеивает огарок» — и луна готова. «Дети вне себя от восторга», подвешивают ящик на дерево и говорят, что это луна для их будущего театра. Дети вообще любят Гоголя больше, чем взрослые. С детьми забывает он о своём христианстве. Но, кто знает, — не ближе ли он именно в эти минуты ко Христу, чем когда-либо, не ближе ли ко Христу Гоголь пляшущий, чем плачущий? Если бы только он это понял, то, может быть, спасся бы. Но в том-то и дело, что все «1847 лет христианства» стояли между ним и *таким* пониманием Христа. И даже в последние годы жизни, когда он, по-видимому, уже совсем измолился, испостился, вдруг вспомнит детский смех Пушкина, жгучий полдень в Кампанье, родную казацкую песню — и опять все «страшилища» как будто ему «только снились», вот-вот, кажется, проснётся, стряхнёт их с плеч. Уже перед самым концом, среди смертной тоски ужаса, по какой-нибудь неожиданной усмешке, «скоромной»

шутке, коротенькой записочке к матери о посадках деревьев, огородных овощей, любимой им цветной капусты и брунколей, чувствуется, что он всё ещё не оторвался от земли, любит землю, тянется к «матери сырой земле». Неимоверное здоровье борется с неимоверной болезнью; сила здоровья равна силе болезни, так что до последней минуты неизвестно, что победит.

Эта-то бессознательная «языческая» стихия задерживает христианское сознание Гоголя, не пускает его, тянет назад; сознание его — точно привязанная птица: едва взлетая, тотчас падает на землю и бьётся крыльями. Он восстал на плоть свою, и плоть восстала на него. Умерщвляемая, но неумертвимая, она мстит ему страшной мезтью; проклятая становится действительно проклятою и, как иссохшая земля, перестаёт питать корни всей его христианской «духовности», парализует её, поражает бессилием, бесплодием, мертвенной сухостью, чёрствостью. — «Крест тягчайший всех крестов — крест чёрствости душевной», — стонет Гоголь. «Молись рыданием и плачем. Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску». Но чем больше он молится, старается плакать, умилять, умягчать себя, тем становится суше и суше, черствее и черствее. Ни слезинки, ни капли небесной росы. Сердце его ожесточается, каменеет в этой мертвящей судороге. «Как растопить мне мою душу, холодную, чёрствую?.. Что это за молитва бескрылая?.. Увы, молиться не легко! Как молиться, если Бог не захочет? Чувствую, что нет сил молиться самому; силы мои как бы ослабли, сердце черство, малодушна душа...». «Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе...» «Дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стёр с лица земли...». «Я требую от всех вас помощи, как погибающий брат просит у братьев!..». «О, молитесь обо мне... Молитесь, молитесь крепко обо мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться!..». «Малодушнее меня, я думаю, нет в мире человека...». «Часто в душевном бессилии восклицаешь: Боже! где же, наконец, берег всего?».

VIII

Отчаявшись во внутреннем просветлении, он стал надеяться на внешнее чудо: ему казалось, что только в Святой земле, у Гроба Господня, сойдёт на него благодатное умиление и он помолится там как следует. Целые годы мечтал об этом путешествии,

видел в нём единственную надежду на спасение, собирался и всё откладывал, считая себя не готовым; наконец, собрался, но в последнюю минуту, уже в Неаполе, перед тем чтобы сесть на корабль, опять упал духом, на этот раз окончательно, и вдруг почувствовал, что ему незачем ехать в Иерусалим, что он почти не верит в возможность чуда. «Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере, в заблуждении насчёт самого себя. Я думал, что я хоть немного лучше того, что я есмь... я думал, что молитвы мои что-нибудь будут значить у Бога... Теперь думаю, *не будет ли оскорблением святыни мой приезд и поклонение моё?*.. В груди моей равнодушно и черство. Вот какая мысль приходит мне на ум, а прежде она не приходила». «Не показывай, пожалуйста, никому этой странички моего письма», — прибавляет он в письме к Шевырёву от 20 ноября 1847 года. И почти тотчас по приезде в Иерусалим, в письме к матери: «Не переставайте молиться обо мне... Теперь более, чем когда-либо, чувствую бессилие моей молитвы...». Жуковскому, вскоре после приобщения у Гроба Господня: «Литургия совершалась на самом Гробовом Камне... Я стоял один... Всё это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться; молиться же, собственно, и не успел... Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из Вертепа...». И уже из Одессы, на возвратном пути: «Скажу вам, что ещё никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только что разве больше увидел чёрствость свою и своё себялюбие, вот весь результат!.. Была одна минута... Но как сметь предаваться какой бы то ни было минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искушение!..». Всё замерло в нём, даже болезнь; он чувствовал себя физически почти здоровым, — «я был здоров во всё время, больше здоров, чем когда-либо прежде» — почти спокойным, но какое это страшное спокойствие, страшная пустота! «У самого Св. Гроба мои молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда ещё так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, чёрствость, деревянность...». «Итак, *далеко* от меня то, что я прежде полагал чуть не близко... Я и доселе также лепечу холодными устами и чёрствым сердцем ту же самую молитву, которую лепетал и прежде».

«Моё путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика *чёрствость* моего сердца. Друг, велика эта чёрствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе, вместо алтаря, — и, при всём том, я не стал лучшим, тогда как *всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное*. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? *Видел я как во сне эту Землю...*». «В Назарете, застигнутый дождём, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно, как бы это случилось в России, на станции». Эта унылая серая слякоть в Назарете не напоминала ли Гоголю заключения «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? «Дождь лил ливмя на жидя, накрывшегося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь... Опять то же поле, местами изрытое, чёрное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое, без просвета, небо!.. Скучно на этом свете, господа!». Что значит эта серая паутина дождя, эта стена сонной серой мглы, точно серого пепла между христианством Гоголя, может быть, всем нашим христианством и подлинным Христом — «отроком из Назарета»? Не есть ли это стена всех «1847 лет» исторического христианства? Ведь и Гоголь в христианстве своём отрёкся от земли, проклял землю; не потому ли и в Святой земле нашёл он землю не святую? Искал на земле только неба и не нашёл ни неба, ни земли, а лишь то, что в вечной *середине* между небом и землёй — серую холодную мглу, серый стынувший пепел христианства, которое «не удалось», «не выгорело».

Гоголь — в Назарете, стране Благовещения, там, где впервые небо стало земным, земля — небесною, застигнутый серою слякотью, «как бы это случилось в России, на станции», глядящий на «мокрых галок и ворон», на «слезливое, без просвета небо» и даже не плачущий, а только зевающий: «скучно на этом свете!» — не символ ли это всего современного, срединного, ни холодного, ни горячего, а лишь тёплого, ни чёрного, ни белого, а лишь серого, ни пляшущего, ни плачущего, а лишь «зевающего» христианства? «И непонятною тоскою уже загорелась земля, черствее и черствее становится жизнь; всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду у всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днём неизмеримейшего роста. Всё глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоём мире!».

«Исполинская» скука, оцепенение, сонная зевота, которая страшнее самого безумного отчаяния, всё более и более овладевают Гоголем, по возвращении в Россию, в три, четыре последние года жизни. «Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять... Не пишется... не хочется говорить ни о чём... Может быть, оттого, что не стало, наконец, ничего любопытного на свете». «Право, скучно, как посмотришь кругом, на этом свете», — вырывается у него однажды в разговоре, с обычной, должно быть, зевотою. Всё чаще жалуется он на «умственную спячку», «недвижность», «непостижимую лень и бездействие сил». «У меня всё лениво и сонно... Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость, или временное оцепенение сил? сплю ли я, или так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?»

«Работа <над «Мёртвыми душами» — ред.> не подвигается; иное слово точно вытягиваешь клещами»... «Не работается, не живётся, хотя куда это и не видно другим». Это и есть та страшная летаргия, о которой он писал. «Слышу в себе силу и слышу, что она не может двинуться». «Мы видели Гоголя в Москве, — пишет Аксаков осенью 1848 года, — он мало наружно переменялся, но кажется так, как будто не тот Гоголь». Снаружи кажется он почти спокойным, более здоровым и крепким, чем когда-либо. Но у него, по собственному признанию, «всё расстроено внутри»; это наружное спокойствие и есть зловеший признак того, что вся сила болезни ушла внутрь.

«Как он переменялся, — пишет сестра его в дневнике из родной усадьбы Васильевки, недалеко от знаменитой Диканьки, куда Гоголь приехал гостить весной 1848 года. — Как он переменялся! Такой серьёзный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный, равнодушный к нам! Как мне это было больно!». И на следующий день 10 мая: «Всё утро мы не видели брата! Грустно: не видели шесть лет, и не сидит с нами». 13. — «Брат всё такой же холодный, серьёзный, редко когда улыбнётся». 20. — «Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я всё плачу». — «У нас с братом были маленькие неприятности, но сегодня всё забыто: он дал мне крестики из Иерусалима». 25. — «Так было грустно; всё что-то тревожит». И уже через два месяца, 22 июля, перед отъездом Гоголя: «Вчера мы все плакали. Тоска ужасная! Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает, но всё же я его люблю, как отца». 24. — «Ах, как грустно!..

Все плакали...». Вот настроение, которое распространяется, как тёмные лучи от Гоголя, «христианина», того самого Гоголя, который, во дни своего «язычества», был источником лучезарнейшего света, смеха и радости: теперь у всех на душе какая-то невыразимая тяжесть, тоска; одни плачут, другие пугаются; а Гоголь только зеваёт да раздаёт «крестики из Иерусалима». Любовь матери и сестёр, рассказывает биограф, выводила Гоголя из себя, «заставляя его подозревать не христианскую, но земную, распалённую любовь к нему».

«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его. Иисус, увидев Матерь и ученика, <Иоанна> тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. — Потом говорит ученику: се, Матерь твоя. — И с этого времени ученик сей взял её к себе» (Иоанн XIX, 26–27). Так Сын Человеческий и на кресте любит Мать свою любовью земною, человеческой; когда Плоть Его ломима и Кровь изливаема, утверждает он уже не во времени, а в вечности плотскую, кровную связь материнства и сыновности. Таков первоначальный солнечный белый свет христианства, который сияет и от Креста в ночи Голфгофы, устремляясь от первого ко второму пришествию; но когда белый свет христианства делается тёмным, то сыновность и материнство, отчество и братство, всё кровное, плотское, всё живое умрёт без воскресения в этом «тёмном свете» бесплотной и бескровной святости.

«Неужели чувство любви к родине у тебя *высохло*?» — спрашивает Гоголя один из его старых малороссийских приятелей. Да, именно «высохло», вымерло в нём всё, или, по крайней мере, он хотел бы, чтобы всё в нём высохло: в этой-то мертвенной сухости, страшной духовной сухотке и заключается, по мнению его — его ли одного? — христианская святость, «высота небесного бесстрастия».

В одном послеобеденном разговоре с дамами зашла речь о тогдашних изобретениях, — стеарин, дагерротип. «И на что всё это надобно? лучше ли от этого люди?» — зевает Гоголь. Все молчат. «Я прежде любил краски, когда очень молод был!» — опять вдруг начинает он, точно спросонок. — «Да, вы могли бы быть живописцем, — замечает какая-то дама. — А прежде что любил?» — «А прежде, маленьким ещё — карты». Дама: «Это означает деятельность духа»... Гоголь: «Какая деятельность духа! Половина России только и делает... Это бездействие духа»... Другая дама: «Николай Васильевич, скоро ли выйдет окончание «Мёрт-

вых душ?». Гоголь, опять зевая: «Я думаю, через год». — «Так они не сожжены?» Гоголь: «Да-а-а... Ведь это только нача-ало было!..» «Он был сонный в этот день от русского обеда», — прибавляет автор записок. В этом разговоре всё обыкновенно, но именно своей обыкновенностью, «пошлостью, доходящей почти до фантастического», — страшно, может быть, страшнее всех исполинских «загробных страшилищ». Это продолжение серой слякоти над холмами Назарета; та серая паутина скуки, которая залепила нам глаза и которую мы называем нашим «христианским просвещением».

«Иногда страх врывается в сонную душу», — признаётся Гоголь. Но это уже не прежний, а какой-то новый страх. В нём зарождается самая «христианская» и, вместе с тем, самая чудовищная мысль о том, что ему нельзя спастись, что всё равно, что бы ни делал, как бы ни каялся, — он погиб, что какое-то особое таинственное отвержение тяготеет на нём. «Мне труднее спастись, чем кому другому». «Страшусь, видя ежеминутно, как хожу опасно». — *«Обо мне нужно молиться более, чем о всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит... участь моя будет страшнее участи всех прочих людей»*. «Молитесь, молитесь обо мне все!» — это однообразный неумолкаемый вопль его в течение многих лет. В духовном завещании Гоголя сказано: «Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились поминки по грешной душе... Я бы хотел, чтобы тело моё было погребено если не в церкви, то в ограде церковной и чтобы панихиды по мне не прекращались». Это напоминает колдуна в «Страшной мести»: «Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было в душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы ночей и не засмеялся б ни разу». Перед смертью колдун бежал в Киев ко святым местам, в пещеру схимника.

«— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилований беги отсюда! не могу молиться о тебе!

— Нет? — закричал как безумный грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью... *Ещё никогда в мире не было такого грешника!*

— Отец, ты смеёшься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! Не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

В этом видении как будто предсказана судьба Гоголя; колдун и схимник — это сам Гоголь и его духовник, отец Матфей Ржевский.

IX

Вопрос о влиянии отца Матфея¹⁰ на Гоголя решается большинством критиков с чрезмерною лёгкостью: ржевский протоиерей — грубый изувер, которому Гоголь подчинился будто бы вследствие своей душевной болезни, «мистического бреда». Стоит, однако, несколько пристальнее взглянуть в то, что произошло между этими двумя людьми, для того чтобы не удовлетворяться подобным решением вопроса.

«Что вам сказать о нём <об О. Матфее> ? — пишет Гоголь гр. Толстому¹¹. — По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это верно вследствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду больше входить в их силу». И самому о. Матфею из Иерусалима: «У Гроба Господня я помянул ваше имя... Молитва моя состояла в изъявлении благодарности Богу за то, что послал мне вас, бесценный друг и богомолец мой... Примите же ещё раз мою благодарность отсюда, из этого места, освящённого стопами Того, Кто принёс нам искупление наше». Мы знаем, что Гоголь так дорожил письмами духовника, что «носил их всегда при себе»: «Прочитал несколько раз ваше письмо; прочитал потом ещё в минуту других расположений душевных. Смысл нам не вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение». «Ваши два последние письма держу при себе неотлучно. Всякий раз, когда их в тишине перечитываю, вижу новое в них... Не забывайте меня в молитвах ваших. Знаете и сами, как они мне нужны... Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, поселяет в душу надежду». «Может быть, вам душа моя известна более, чем мне самому... Вопию о помощи: молитесь, добрая душа!». «О, как бы мне хотелось открыть вам всю мою душу!». Последнее письмо о. Матфею за две недели до смерти, уже со смертью в душе, Гоголь подписывает: «Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, ваш весь Николай».

Мы знаем, чем был Пушкин для Гоголя. И вот, однако, этот никому неизвестный, мало образованный и кажется даже, несмотря на уверения Гоголя, не особенно умный священник имеет большее влияние на судьбу его, чем Пушкин. От Пушкина — жизнь, от о. Матфея — смерть Гоголя, и жизнь явно побеждена смертью: о. Матфей оказывается сильнее Пушкина — какую силу? — вот вопрос.

Ему было лет под шестьдесят. Большую часть жизни он провёл в деревенской глуши, среди простого народа. «Смолоду наклонен был к подвижнической жизни. Он был не высок ростом, немножко сутуловат; у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, немножко вьющиеся светло-русые волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и по внешним приёмам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска или Диева отличал только покроем его одежды... Правда, во время проповеди (он говорил прекрасно, восхищавшим Гоголя живым народным языком), а также при совершении литургии лицо его озарялось и светлело; но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по минованию коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид» («Жизнь и труды Погодина». Н. Барсукова, VIII, 564–566). Таков, по свидетельству очевидца, внешний облик о. Матфея. Облику внешнему соответствует внутренний, насколько мы знаем по его собственным письмам и по отражению личности его в представлении Гоголя: во всём существе о. Матфея — не только ничего гениального, поразительного, но и ничего выдающегося, особенного, даже почти ничего личного, ничего своего. Но в этом-то именно отсутствии личного и заключалась главная сила, тайна власти его. О. Матфей для Гоголя не человек, а священник — только, но зато и во всей полноте — священник. Человек со своими личными особенностями как бы окончательно растворился в безличном священстве; оно поглотило в себя человека. О. Матфей для Гоголя чистейший представитель чистейшего православия; он, во всяком случае, не перетолковывал, не окрашивал его в свой цвет, в цвет своей личности; как сквозь совершенно прозрачное стекло, сквозь личность, или, вернее, безличность о. Матфея можно заглянуть в самую глубину подлинного исторического и народного христианства: таково оно было, таково оно есть, не на словах, а на деле, потому что этот деревенский поп был прежде всего человек дела;

христианство его — не словесное, не отвлечённое, а в высшей степени действенное, жизненное. Другие говорят о том, что делать; о. Матфей делает то, о чём говорит, и ничего не прибавляет от себя: что принял от церкви, на том и стоит; не идёт, как другие, более «современные и просвещённые» истолкователи предания, ни на какие уступки, смягчения, лукавые сделки с лукавым духом времени. Гоголь чувствовал в о. Матфее непоколебимую крепость, каменный кряж православия. Это несколько плоское и серое мужичье лицо ржевского протопопа было лицом всей русской церкви, всего «восточного католичества». В голосе о. Матфея слышался подлинный голос «1847 лет» исторического христианства. О. Матфей весь един; Гоголь весь раздвоен. Как твёрдый дубовый клин в расщепленное дерево, это единство о. Матфея врезалось в раздвоенное существо Гоголя и раскололо его окончательно. Вникая в подвижнические творения великих отцов¹², Златоуста, Василия, Исаака, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Гоголь имел возможность проверить о. Матфея и убедиться в его совершенном согласии с этими столпами церкви, на коих ведь и доныне вся она зиждется, как на своём глубоко скрытом, подземном, но всё же единственно-твёрдом основании.

В чём же, собственно, главная мысль о. Матфея, его исходная точка? Это — главная мысль всего уединяющего, монашеского, «чёрного» христианства. Мысль самого Гоголя: «*Жить в Боге значит жить вне самого тела*»; святость значит бестелесность; плоть значит грех; дух противопоставляется плоти, как одна абсолютная сущность другой, столь же абсолютной, как начало божеское началу бесовскому, как вечное добро вечному злу — в неразрешимом противоречии. Отсюда вывод: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо всё, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Весь мир лежит во зле». Мир есть отрицание Бога; Бог есть отрицание мира — не какой-нибудь части мира, а мира как целого, как, опять-таки, абсолютной сущности. То, что было только *одним из двух* начал, *одним из двух* полюсов в учении Христовом, становится началом *единственным*, всепоглощающим, отрицающим другое начало. Такова исходная точка о. Матфея: отправляясь от неё, он дошёл до конца, только сделал из этих первых аскетических посылок последний, страшный, но, в сущности, неизбежный вывод в своём суде над Гоголем; те, у кого чёрный монашеский цвет христианства, слиняв, сделался

не белым, а лишь серым, полу-светлым, полу-светским, уклонились бы, конечно, от этого слишком страшного вывода. Но вот вопрос: подвижники чистого «чёрного христианства», древние великие отцы пустыни, Исаак, Ефрем, Лествичник, не согласились бы с беспощадной логикой о. Матфея, который признал, что не только всё «язычество» Гоголя, его художественное творчество, смех, радость жизни, любовь к миру, но и всё его «христианство», скорбь, покаяние, отречение от мира, как недостаточные, неполные, не окончательные, слишком светлые, суть ложь, соблазн, то, что на языке аскетизма называется «прелестью», и что всё это мнимое, будто бы, христианство внушено ему не духом, а плотью, не Богом, а дьяволом.

Именно здесь, в отношении к аскетизму о. Матфея, обнаружилась вся религиозная двойственность Гоголя в такой мере, как ещё никогда.

С одной стороны, он как будто соглашается с ним во всём, выдает себя головой, только молит о последней пощаде, отражает последние, слишком страшные, обвинения в «прелести», хотя уже и в том, как он защищается от этих обвинений, чувствуется его незащитность. «Нет, не допустит Бог меня впасть в ту прелесть, в которую вы подозреваете меня падшим». «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя <«Переписка»> должна произвести вредное действие и что я дам за неё ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом. Книга моя не от дурного умысла: моё недоразумение всему причиною; за то Бог и наказал меня... Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных молитв, то ради молитвы тех, которые ему молятся обо мне, — ради молитвы моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву». «Я точно моей опрометчивой книгой показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства... А дьявол, который тут как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было и без умысла учительствовать... Теперь только дивлюсь я своей гордости, дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стёр с лица земли...»

С другой стороны, за этой, как будто бесконечной, покорностью скрывается бесконечное сопротивление: уступая, шаг за

шагом, Гоголь всё-таки за что-то отчаянно борется с о. Матфеем, что-то отстаивает, чем-то не может или не хочет пожертвовать, хотя бы грозила ему клятва церковная и вечная погибель. Он клонится, гнётся, и в самой этой гибкости — почти неодолимая сила упорства. На «чёрное» христианство о. Матфея возражает он иногда как бы нечаянно, но всё-таки слишком по существу, в слишком глубокой исходной точке, от которой зависит весь уклон христианства от «белого» цвета к «чёрному», от воскресения к умерщвлению, от святой плоти к бесплотной святости. Он пишет ближайшему другу и духовному сыну о. Матфея, гр. Толстому: «Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни... Вы почитаете всё, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас. Не будьте похожи на тех святошей, *которые желали бы разом уничтожить всё, видя во всём мире одно бесовское*». Разве это не острый нож в сердце о. Матфея? Тут речь идёт о театре, о литературе, о Пушкине, о всей плоти мира, «света», который не хочет быть мраком, «мрачным монастырём». «Среди света, говорит Гоголь, есть много такого, что служит незримой ступенью к христианству». И далее, уже самому о. Матфею: «Я подал вам повод думать, что посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли!.. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось желание идти к Богу, а не идти к чёрту». Чем уступчивее Гоголь, тем требовательнее о. Матфей. Когда же он высказал, наконец, своё последнее, ужасающее, но, в сущности, для него логически-неизбежное требование, чтобы Гоголь «бросил имя литератора и пошёл в монастырь», тот возразил ему так, что это возражение, несмотря на свою внешнюю почтительность, было для о. Матфея опять, как острый нож в сердце: «Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и можно исполнять его, пребывая во всяком звании и во всяком сословии; его можно исполнить также и в звании писателя... Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасение души моей и во исполнение всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешёл на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошёл в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг нас... Словом, *нет поприща и места в мире, на ко-*

тором мы бы могли уйти от мира». «Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его во злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его во злое». — «Не знаю, брошу ли я имя литератора, потому что не знаю, *есть ли на это воля Божья*».

Ежели сущность христианства — умерщвление плоти, бесплотная духовность (а ведь именно так и была понята эта сущность всеми веками односторонне-аскетического христианства от Исаака Сирина до о. Матфея), то искусство не может быть святым в христианском смысле, потому что всякий художественный образ есть всё-таки не бесплотная духовность, а одухотворённая плоть или воплощённый дух. Гоголь не сознавал с ясностью (и в этом недостатке сознания заключается главная причина его гибели), только смутно прозревал в искусстве начало религии, начало святой плоти. Этого-то и не мог понять о. Матфей, который так же, как и все стоявшие за ним века, подменил святую плоть бесплотною святостью.

Х

Надо понять всю глубину вопроса, который поднят был здесь между мирянином и священником, между миром и церковью. Нельзя в мире уйти от мира, утверждает Гоголь. Если это так, то одно из двух: или христианство невозможно; или оно во все не требует, чтобы мы ушли от мира в том смысле, как этого требовал о. Матфей. Мир весь лежит во зле — это одно подлинное начало христианства; но вот и другое столь же подлинное: Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного принёс за него в жертву. Бог не может любить зло; значит, кроме того мира, который «весь лежит во зле», или, по выражению Гоголя, «идёт к чёрту», есть и другой мир, который идёт к Богу. Как отделить один из этих двух миров от другого? Есть грешная плоть, но есть и плоть святая, иначе слово не было бы плотью. Как отличить плоть грешную от святой? Гоголь опять-таки не сознавал, а лишь смутно предчувствовал эти вопросы, которые не только не разрешить, но и услышать не мог о. Матфей.

Гоголь отрекался от «вселенского учительства»; но одно мгновение, одна точка религиозного пути его имеет действительно вселенское значение; действительно стоял он, по выражению Аксакова, перед «исполинскою задачей, которой не разреши-

ли 1847 лет христианства». Он предчувствовал, что христианство остается донныне словесным, отвлечённым, что оно уходит от мира и не возвращается в мир. Он утверждает, что праздник Светлого Христова Воскресения нигде ещё не празднуется как следует — почему это так, он не мог бы сказать, он только смутно прозревал, что тайна воскресения плоти не открывается в «чёрном» христианстве и что окончательное откровение тайны этой предстоит лишь будущему «белому», воистину вселенскому христианству. Здесь, может быть нечаянно, коснулся Гоголь той оси, на которой держится и от колебания которой зависит мировой поворот христианства от первого ко второму пришествию; сдвигал тот камень, на котором зиждется вся крепость церкви неподвижной. О. Матфей и Гоголь (не совсем в сознании, а только в своём пророческом ясновидении) — это неподвижность и движение, предание и пророчество, прошлое и будущее всего христианства — в их неразрешимом противоречии. О. Матфей преступил завет апостольский *«Духа не угашайте»*, когда требовал, чтобы Гоголь отрекся от искусства; он «угашал дух», умерщвлял духовную плоть во имя бесплотной духовности. В анафеме над Гоголем и Пушкиным устами о. Матфея историческое христианство произносило анафему над всею русской литературой, над всем «просвещением», «светом», «миром», анафему над всей плотью, анафему над всей тварью, ещё не избавленной, но «совокупно стенающей об избавлении». Спор о. Матфея с Гоголем был таков, что между обеими сторонами не могло быть никакой середины, никакого примирения: ежели один был в абсолютной истине, то другой — в абсолютной лжи; ежели за одним была «воля Божья», то за другим воля, идущая против Бога. С Богом ли он, или против Бога в этом споре, — Гоголь не имел силы решить окончательно: не только вся история, но и собственное сознание Гоголя были слишком на стороне о. Матфея. И потому, что Гоголь не имел силы этого решить, он погиб.

«Не писать для меня совершенно, значило бы то же, что не жить». Отречение от литературы для Гоголя было не только самоумерщвление, но и самоубийство. О. Матфей потребовал от него этого самоубийства. Гоголь предвидел, что если бы он не согласился, то о. Матфей сказал бы ему то, что святой схимник говорит колдуну в «Страшной мести»: «Иди, окаянный грешник! не могу о тебе молиться — нет тебе помилования! Ещё никогда в мире не было такого грешника!» Этой анафемы, которая носи-

лась над Гоголем всю жизнь и преследовала его в вещих снах, он так боялся, что готов был на всё. Голос о. Матфея был для него голосом церкви, всего христианства, самого Христа. Ему предстояло одно из двух — или жить вне церкви отступником, или совсем не жить: он выбрал последнее.

XI

В конце декабря 1851 года, меньше, чем за два месяца до смерти, Гоголь писал о. Матфею: «Известие, что вы будете сюда, меня много обрадовало. Вы напрасно думали, что приезд ваш на праздник Рождества может быть не в пору. А. П. (гр. Толстой) живёт так уединённо и таким монастырём, что и я, любящий тишину, переехал к нему на время пребывания в Москве. Он просит вас прямо взъехать на двор к нему... Комната для вас готова». В это время, несмотря на обычные духовные и физические страдания, заложенная в существо Гоголя огромная жизненная сила всё ещё борется с болезнью. Несмотря на все отречения от жизни, он всё ещё любит жизнь, любит землю, тянется к земле, бессознательно, как дитя к матери. «За посадку деревьев тебя очень благодарю, за наливки также, — пишет он сестре. — Как только сделается потеплее, пришлю тебе семян для посева кое-какой огородини». Кажется он всё ещё способен к одной из тех шуток, которые, три года назад, позволял себе неожиданно, среди бесконечных унылых рассуждений о посте, о бесстрастии, об умерщвлении плоти. «Любезный друг, Сергей Тимофеевич, — писал он Аксакову, — имеют к вам сегодня подвергнуться к обеду два приятеля: Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упомяну об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на лишнее рыло». Как радуешься, как отдыхаешь на этой шутке! Точно бледный луч солнца в гробовом склепе. Как узнаёшь и приветствуешь прежнего Гоголя, милого «язычника», неисправимого обжору, творца «Старосветских помещиков», для которых вся жизнь — еда! Как начинаешь снова надеяться, что он ещё не погиб! И насколько этот кусок грешной бычачины ближе ко Христу, чем та страшная сухая просвира, которую впоследствии запостившийся Гоголь будет глотать, умирая от истощения и упрекая себя в «обжорстве»!

Главное — он всё ещё пишет, а писать для него значит жить. Мучительно, медленно, но неустанно работает над вторым то-

мом «Мёртвых душ». Пока не порвана эта связь с жизнью через искусство, есть ещё надежда на спасение. «Второй том, может быть, тебе привезу летом сам, а может быть, и в начале весны». «Я работаю в тишине по-прежнему. Иногда хвораю, иногда же милость Божия даёт мне чувствовать свежесть и бодрость, тогда и работа идет свежее». «Если Бог будет милостив и пошлёт несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь». «Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же, — пишет он Жуковскому за девятнадцать дней до смерти. — Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной».

Таково душевное настроение Гоголя до приезда о. Матфея; через две недели после его отъезда Гоголь умер. Конечно, то, что произошло между ними, было причиной смерти.

«Что это за странная смерть! — говорит С. Т. Аксаков. — Он умер, мне кажется, только потому, что был убеждён, что умирает. Физического расстройство в нём не было». «Это было в субботу на первой неделе поста, — рассказывает другой очевидец. — Увидав его, я ужаснулся. Не прошло и месяца, как я с ним обедал вместе, — он был цветущего здоровья, бодр, свеж, крепок, — и теперь предо мною человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный продолжающимся тифом до необыкновенного изнеможения. Глаза его тусклы и впалы, лицо совершенно осунулось, щёки ввалились, голос слаб, язык трудно шевелится от сухости во рту, выражение лица неопределённое, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда». «Он чувствовал, что болен той самой болезнью, от которой умер отец его, — именно, что на него *нашёл страх смерти*». «Страшна минута смерти!» — повторял Гоголь. Когда однажды о. Матфей обличал его и грозил небесной карой, Гоголь, потрясённый, не владея собой, прервал речь и воскликнул:

«Довольно! Оставьте, не могу далее слушать — слишком страшно!».

Должно быть, перед самым отъездом о. Матфея произошла последняя решительная беседа, во время которой Гоголь, по собственному выражению, «оскорбил» своего духовного отца, друга и благодетеля. Как мог он его оскорбить? По всей вероятности, о. Матфей в последний раз потребовал ответа, желает ли он с точностью исполнить правила святых отцов, уйти от мира, «бросить

имя литератора и сделаться монахом». И в последний раз Гоголь возмутился, со смертным ужасом, отчаянием и, может быть, даже злобным ожесточением противостал о. Матфею, возразил, что не должен этого делать, потому что *«не знает, есть ли на то воля Божья»*.

Но только что духовник уехал, Гоголь послал вслед ему письмо, в котором молил о прощении; это последние строки, написанные Гоголем: «6 февраля 1852. — Уже написал было к вам одно письмо вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас; но вдруг милость Божия чьими-то молитвами посетила и меня, жестокосердного, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко! но об этом что говорить?..

Обязанный вам вечно благодарностью здесь и за гробом, ваш весь *Николай*».

Борьба была кончена, о. Матфей победил. «Благодать», внезапно осенившая Гоголя «чьими-то молитвами», открыла ему, что «воля Божия» требует, чтобы он отрекся от литературы. По всей вероятности, Гоголь в ту минуту, когда писал духовнику, уже решил окончательно сжечь все свои рукописи и больше «не писать — не жить».

«Устав церковный написан для всех, — говорит о. Матфей. — Все обязаны беспрекословно следовать ему: неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас забота? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных»...

Гоголь решил исполнить нечто большее, чем устав церковный. «На масленой начал он говеть и поститься: стал есть всё меньше и меньше, хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи. За обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали что-либо другое, отказывался болезнью. Несколько дней питался одной просфорой. Своё пощение не ограничил пищей, но и сон умерил до чрезмерности: после ночной продолжительной молитвы рано вставал и шёл к заутрени. Наконец, он так ослаб, что едва держался на ногах. Однажды целый день ничего не хотел есть; когда же после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно».

На первой неделе Великого поста, в ночь с понедельника на вторник, за девять дней до смерти, Гоголь велел своему мальчи-

ку-слуге раскрыть печную трубу и затопить печку. Собрал все свои рукописи и бросил их в огонь. Он «сжѣг всё, что написал», между прочим, и весь, уже почти готовый, второй том «Мѣртвых душ». «Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка», — замечает Хомяков. Мальчик, глядя на горящие рукописи, возражал ему: «Зачем вы это делаете? может, они пригодятся ещё». Но Гоголь не слушал. А когда почти всё сгорело, он долго сидел, задумавшись, потом заплакал, велел позвать гр. Толстого, показал ему догорающие углы бумаги и сказал: «Вот что я сделал! хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжѣг всё. Как Лукавый силѣн! Вот он до чего меня довѣл...» «Ведь вы можете всё припомнить? — сказал Толстой, желая его утешить. — Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу, у меня всё это в голове, — и, по-видимому, сделался спокойнее, перестал плакать».

Прежде чем у Гоголя явилась мысль о сожжении рукописей, он завещал, чтобы после смерти его гр. Толстой все его сочинения передал митрополиту Филарету¹³: «Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачѣркивает немилосердно». Вот главный вопрос, с которым Гоголь обращался к Церкви: он хотел, чтобы она научила его отделять нужное от ненужного, святое от грешного, Божеское от бесовского, не только в искусстве, но и во всѣм вообще «мирском», «светском», «плотском», во всей живой плоти мира, во всей твари, ещё не избавленной, но «совокупно стенающей об избавлении»; он хотел, чтобы Церковь научила его отделять мир, который «весь лежит во зле», от мира, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Единородного принѣс за него в жертву. Увы, на этот вопрос не сумел бы ответить Гоголю не только митрополит Филарет, но и всё историческое христианство от Иоанна Лествичника до о. Матфея; оно сделало бы только одно из двух: или, уклоняясь от прямого ответа, изменяя себе, как оно, в действительности, слишком часто себе изменяло, согласилось бы только на случайные уступки, только на лукавые сделки с лукавым духом времени, которые не мог и не хотел принять Гоголь и которые делают христианство из чѣрного не белым, а только серым, серединным, похожим на осеннюю слякоть над холмами Назарета; или, оставаясь верным себе до конца, повторило бы ещё раз устами о. Матфея то, что уже восемнадцать веков повторяло на все лады: «Не любите мира, ни

того, что в мире, ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская; всё — тлен, всё — прах, всё — грех. Беги же от мира, брось имя литератора и будь монах». Когда Гоголь, не умея отделить святое от грешного в своём искусстве, в своей плоти, от всего отрекся, проклял *всё*, сжег *всё*, — тогда вдруг почувствовал, что исполнил волю не Божию, совершил преступление, кощунство, которому нет имени, — похулил в святой плоти Дух Святой: «Вот, что я сделал! хотел было сжечь *некоторые* вещи, а сжёг *всё*. Как Лукавый силён! — вот он до чего меня довёл». Кто же собственно довёл его до этого — Лукавый или о. Матфей? В ту минуту, когда Гоголь сидел у печки и смотрел, как буквы тлеющих рукописей рдеют, точно кровью наливаются («смотри, окаянный грешник, святые буквы на книге налились кровью»), в этом страшном кровавом отблеске не предстал ли ему образ о. Матфея, не захотелось ли Гоголю закричать ему, как в «Страшной мести» колдун кричит святому схимнику: «Отец, ты смеёшься надо мною!». Не понял ли он, наконец, кто скрывается под этим образом, образом «ангела светла»? Не узнал ли под этой последней, самой соблазнительной маской того, с кем он боролся всю жизнь оружием смеха? Борьба была окончена, совершилась «страшная месть»: не-человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться.

ХII

Мы знаем, что в последние дни преследовали Гоголя какие-то ужасные видения. Дня за два, за три до сожжения рукописей он «поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошёл к ним, воротился, долго ходил взад и вперёд, долго оставался в поле на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и потом, не входя на двор, опять сел на лошадь и возвратился». Что он думал, что он видел там, в поле, ночью, один, или в старинной маленькой церкви Симеона Столпника, где в темноте молился целыми часами? Не проносились ли перед ним снова те видения, которыми в юношеских сказках своих, особенно в самой страшной и вещей из них — «Вие», напроочил он себе судьбу свою? Герой «Вия», «философ» Хома Брут, тоже остаётся ночью один в церкви. «Посредине стоял чёрный гроб; свечи теплились перед тёмными образами; свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви; отдалённые

углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость... Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. «Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днём», — подумал философ. И он принялся прилеплять восковые свечи ко всем картинам, наоям и образам, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей... Он подошёл к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей — и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз: такая страшная сверкающая красота!».

Эта ведьма, с которой некогда весёлый молодой казак летал в «бесовски сладком, томительно-страшном полёте», эта мёртвая ведьма в чёрном гробу среди церкви — не языческая ли красота, не сладострастная ли плоть мира, убитая и отпеваемая Гоголем в старой церкви, в церкви Симеона Столпника или о. Матфея?

«Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец... Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели вниз разбитые стёкла окошек. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в Божию церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Всё летало и носилось, ища повсюду философа... Он только крестился да читал как попало молитвы... Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окружённого таинственным кругом. «Приведите Вия, ступайте за Виём!..» И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжёлые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он черней земли. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землёю ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нём железное».

Железное лицо, земляное тело Вия — против бесплотных лиц, неземного тела святых, бездушная плотскость — против бесплотной духовности. За умерщвлённую плоть мстит мёртвая плотскость. Вий — это самое противоположное духу, движению, сознанию; это — тяжесть, косность, мёртвость первозданного вещества, материи; это в человеке инстинкт, прикрепляющий его не только к земному и телесному, но и к подземному, дотелесно-

му — к материи — инстинкт слепой и ясновидящий: длинные веки Вия опущены до земли; он сам не может их поднять; но когда подымут их — он видит то, чего никто не видит.

«— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий, — и всё сонмище кинулось подымать его веки.

— Не гляди! — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец, и все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он о землю, и тут же вылетел дух из него от страха».

Он «умер от страха», так же как Гоголь. И святыня Божия не спасла его от дьявольской нечисти; церковь, бедная, ветхая, вся дрожит под напором чудовищ и не может им противиться: они побеждают её; бесплотная духовность оскверняется бездушную плотскостью — и предсказанная «мерзость запустения становится на месте святом»¹⁴.

Когда наступило утро, «вошедший священник, — рассказывает Гоголь, — остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить... Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдёт теперь к ней дороги». Она запустела — и мир не найдёт к ней дороги, так же как она сама не нашла дороги в мир.

Каковы бы ни были предсмертные видения Гоголя, таков именно должен был быть их пророческий смысл: его собственная им самим убитая муза, сверкающая страшной красотой, ведьма в гробу, среди церкви, и уставленный на него, убийцу, железный палец Вия.

XIII

С той самой ночи, как сжёг свои рукописи, сделался он ещё мрачнее прежнего. Сидел в креслах по целым дням в халате, протянувши ноги на другой стул, перед столом, не пускал к себе почти никого и ещё меньше говорил. Замечательны слова, которые он в это время сказал Хомякову: «Надобно же умирать, и я уже готов и умру». По удостоверению врачей, «никаких важных болезненных симптомов с ним не было». Он только продолжал «поститься», или, вернее, морить себя голодом. Духовник, не

о. Матфей, а другой, приходский священник, приходил ежедневно; при нём нарочно подавали кушать саго, чернослив. Священник начинал есть первый и убеждал его есть вместе с ним. Но Гоголь большей частью отказывался. «В воскресенье священник убедил его принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но после этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уже в последнее время никакой пищи. Когда гр. Толстой для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, весьма близких к нему и которые не могли не занимать его прежде, он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите? можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?» Потом молчал и заставлял графа умолкнуть». «Во вторник являюсь я, — рассказывает очевидец, — и встречаю гр. Толстого, встревоженного через меру. — «Что Гоголь?» — «Плохо; лежит. Ступайте к нему. Теперь можно входить». Я вошёл в его комнату; он лежал на широком диване, на боку, с открытыми глазами, отвернувшись к стене; против лица — образ Богоматери, в руках — чётки». Лицо его было «спокойно» или, вернее, бесчувственно: «Он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны». Решён был главный вопрос: «жить в Боге значит жить вне тела — надо умереть, и я готов и умру».

Но неужели это «христианская» смерть, та «безболезненная и мирная кончина живота», о которой молится церковь? Все окружающие смутно чувствовали, что происходит нечто ужасное и *преступное*, это не смерть, а самоубийство, что нельзя этого так оставить, надо что-то сделать. Но что? Бедный батюшка, который начинает есть чернослив, доказывая Гоголю, что можно жить в Боге и в теле, не так же ли символически страшен со своею бессильной добротой, со своим «полияльным», «сереньким» христианством, как и о. Матфей со своею беспощадной силой и христианством истинным, «чёрным»? Но что же всё-таки, что же людям было делать?

Когда они увидели, что религия не помогает, то обратились за помощью к науке. Из рук священников Гоголь попадает в руки докторов, из бесплотной духовности — в бездушную плотскость, из ветхого идеализма в современный позитивизм. С точно таким же насилием и грубостью спасали душу Гоголя, не заботясь о теле его; другие начинают спасать тело его, не заботясь о душе. От неразумного Бога — к безбожному разуму.

Врачи собрались для консилиума. Поставлен был вопрос: «Оставить ли больного без пособий, или поступить с ним, как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Решили: «Да, надобно его кормить *насилно*». «Пошли осматривать больного; стали его спрашивать. Гоголь или не отвечал, или отвечал коротко: «Нет», — не открывая глаз; наконец, проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради Бога!» Стали давить живот. Он был, как доска, вообще без содержимого, мягкий, вялый, позвоночник через него ощущался легко. Гоголь закричал, застонал. Доктора предписали пиявки и холодное обливание головы в тёплой ванне. Нашли также успокоительное латинское название болезни: *gastroenteritis ex inanitione*. «Когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно. Когда ставили пиявки, он повторял: «Не надо!» Потом, когда они уже были поставлены, твердил: «Снимите пиявки, поднимите от рта пиявки!» Его руку держали с силою, чтобы он их не касался». Доктора велели поставить, кроме пиявок, горчишники на конечности, потом мушку на затылок, лёд на голову и давать внутрь отвар алтейного корня с лавровишнёвой водой. Обращение их было безжалостное: они распоряжались с ним, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Приставали к нему, мяли, ворочали, поливали на голову какой-то едкий спирт, и больной от этого стонал; спрашивали, продолжая поливать: «Что болит, Николай Васильевич? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал. За несколько часов до смерти, когда он уже был почти в агонии, ему обкладывали всё тело горячим хлебом, причём опять возобновился стон и пронзительный крик».

Какое-то фантастическое безобразие! Мы видели, впрочем, что во всей личности, в жизни Гоголя иногда мелькает это фантастическое, исполински-карикатурное, самое смешное в самом страшном; и вот это же повторяется и в смерти. Тут как будто в последний раз смеётся Чёрт над человеком, нарочно в самом унижительном положении тела и духа тащит свою жертву. Доктора должны были казаться Гоголю в предсмертном бреду его чем-то вроде той нечисти, которая задушила Хому Брута в осквернённой церкви. «Горьким словом моим посмеюся»¹⁵, — эти слова пророка Иеремии начертаны на гробовом камне Гоголя. Увы, теперь мы знаем, кто над ним посмеялся.

Часу в одиннадцатом ночи умирающий Гоголь закричал громко: «Лестницу! поскорее давай лестницу!..» Это были последние слова его. Почти те же слова о лестнице сказал перед смертью великий русский подвижник св. Тихон Задонский. Гоголь много думал о таинственных ступенях, о духовной «лестнице» другого подвижника Иоанна Лествичника. В последней главе «Переписки», «Светлое Воскресение», Гоголь также говорил о лестнице: «Бог весть, может быть, за одно это желание (любви воскрешающей) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней».

XIV

Все мы знаем лицо мёртвого Гоголя — нечеловечески-странное, белое, тонкое, острое-острое, как слишком отточенное лезвие; тут как будто в самой неподвижности — движение, стремление, полёт бесконечный: теперь ему уже не надо «лестницы» — он летит. И ни одной тени того «чёрного христианства», которым пугал его о. Матфей, в сияющей белизне этого лица: это белый свет Христа грядущего — не смерть, а светлое воскресение.

И всё-таки для нас, живых, какая загадка в этом лице! Мы не только её не разгадали, но и не задумались над ней. Закрыв глаза, чтобы не видеть, прошли мимо.

«Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование». И действительно, в самоумерщвлении Гоголя совершилось «великое самопожертвование» за всех нас — за русское общество, за русскую церковь. Но мы не приняли и не поняли этой жертвы. В нашем движении вперед, в нашем «прогессе», не останавливаясь, даже не оглядываясь, мы перешагнули через эту жертву — через мёртвое тело Гоголя. «Слышно страшное в судьбе наших поэтов», — говорит он о гибели других, но с ещё большим правом можно бы это сказать о его собственной гибели. — «И никого это не поразило, даже не содрогнулось ветреное племя!».

Понятно, впрочем, и отчасти даже извинительно отношение русского общества к христианству Гоголя: тут ведь вся жизнь, вся плоть мира защищала себя бессознательно от величайшего самоумерщвления, самоубийства — от анафемы о. Матфея. Гораздо менее понятно отношение церкви к Гоголю, если вообще тут было какое-либо отношение, так как, собственно говоря, цер-

ковь не приняла и не отвергла, она просто не заметила Гоголя, — то есть не заметила, может быть, самого главного, что произошло за последние два века её существования.

По поводу «*Переписки*» митрополит Филарет сказал: «Хотя Гоголь во многом заблуждается, но надо радоваться его христианскому направлению». Узнав о последней болезни и об упорном посте Гоголя, Филарет «прослезился и с горестью сообщил мысль, что на него надо было действовать иначе: следовало убеждать, что спасение не в посте, а в послушании». Ежели следовало «действовать», то почему же он и не действовал? Мы ведь знаем, что Гоголь к Филарету обращался за помощью. Где же был пастырь, когда волк похищал овцу? И что такое значит: «спасение не в посте, а в послушании»? Сожжение рукописей и пост Гоголя — не от чрезмерного ли послушания о. Матфею, не от послушания ли даже до смерти? Как же ещё больше слушаться? Знал ли сам Филарет, чему он радуется, по поводу «*Переписки*», и над чем плачет, по поводу смерти Гоголя? Если бы знал, то не мог бы не почувствовать некоторой ответственности, не преминул бы высказаться с большей определённой о тех «заблуждениях», которые обратили слишком раннюю радость его о Гоголе в слишком позднюю скорбь. И неужели, неужели же для утоления этой скорби верховный пастырь церкви не нашёл в себе ничего, кроме слёз, может быть, и добрых, но столь же бесполезных, как тот чернослив, который ел перед умирающим Гоголем приходский батюшка? Ежели кровь жертвы падёт на чью-нибудь голову, то вода этих слёз не смоет крови.

С большею определённой по поводу «*Переписки*» высказался знаменитый Иннокентий, архиепископ Херсонский¹⁶: «Гоголя читал... Он просит отвечать... Но что писать?.. Что почувствовал о. Матфей, узнав о смерти Гоголя? — прослезился ли он, так же как Филарет, или остался невозмутимым на высоте своего «небесного бесстрастия»? Радуюсь перемене с ним, только прошу его не *парадировать набожностью*: она любит внутреннюю клеть... Голос его нужен; но если он будет неумерен, то молодёжь поднимет его на смех, и плода не будет». «Неумерен» — это значит слишком «чёрен» или слишком «бел»; умеренное христианство — не «чёрное» и не «белое», а серое; христианство — и нашим, и вашим, в котором и волки сыты, и овцы целы; с одной стороны, забота о «внутренней клетке», с другой — о смешливой русской молодёжи. Не имел ли, однако, основания Гоголь пред-

почесть, может быть, и «неумеренное», но зато подлинное «чёрное» христианство о. Матфея этому серому, слишком умеренному?

С ещё большею определённою высказался преосвященный Григорий, епископ Калужский. «Однажды за обедом в одном высокопоставленном семействе разговор зашёл о Гоголе и коснулся *«Переписки»*. Споры были большие; кто pro, кто contra. Кто-то выразился: «Читая эту переписку, удивляешься тому, что Гоголь даже богослов». На это преосвященный Григорий¹⁷, со свойственным ему добродушием и голосом, полным как бы сожаления, сказал: «Э, полноте, какой он богослов! *Он просто сбившийся с истинного пути пустослов!*»

Итак, не одни светские люди отнеслись к христианству Гоголя с чичиковской жесткостью или хлестаковской «лёгкостью в мыслях».

В лице Гоголя весь русский «свет», всё русское просвещение обратилось к церкви с вопросом, от которого зависит будущее не только этого просвещения, но и всего вообще христианства. Церковь на вопрос этот ответила только проклятием, слезами и шуткой.

«Знаю, — говорит Гоголь, — что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие, и говорю это недаром; видит Бог, говорю недаром!» Ежели предсказание это исполнится, то те, кому придётся давать ответ за Гоголя, уже не отделаются ни проклятиями, ни слезами, ни шутками.

«Скажите мне: зачем мне, вместо того чтобы молиться о прощении всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасении Русской земли?» — писал о. Матфею Гоголь перед отъездом в Иерусалим. Он сочинил и послал друзьям особую молитву, которою просил их помолиться за него: «Исправи молитву и дай ему силу помолиться у Гроба Святого о кровных своих, о всех людях земли нашей, о её мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и воцарении в ней Твоего царствия, Боже! — И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновлёнными силами, бодростью и рвением, возвратиться к делу и труду своему, на добро земли своей и на устремление сердец к прославлению святого имени Твоего!». Об этой молитве о. Матфей мог бы сказать только то, что он действительно говорил Гоголю, если не этими словами, то в этом духе:

молитва твоя внушена не христианским смирением, а сатанинскою гордостью; ты впал в *прелесть*. Прежде чем думать о спасении России, подумай о собственном твоём спасении, окаянный грешник!

Почему же, однако, теперь, через полвека, так хочется, чтобы не праведный о. Матфей, уклончивый Филарет, умеренный Иннокентий, богословный Григорий, а грешный, непреклонный, неумеренный, небогословный Гоголь помолился именно этой новой молитвой о нашем спасении, о спасении России, у престола Господня? Почему так верится, что молитва эта более, чем какая-либо другая, будет услышана?

«Будьте не мёртвые, живые души» — это последний завет Гоголя всем нам, не только русскому обществу, но и русской Церкви. Что же нам делать, чтобы исполнить этот завет? Одни говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа, другие: нельзя быть христианином, не отрекшись от жизни. Или жизнь без Христа, или христианство без жизни. Мы не можем принять ни того, ни другого. Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать? Гоголю на вопрос этот Церковь ничего не ответила. Может быть, тогда ещё не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются.

Пусть же Церковь ответит. Мы спрашиваем.

1906

